

ТАКЖЕ ТАКЖЕ БОГООБЪЯВЛЕННЫМ ПАТРИАРХИ
ПРИНЕСЕ ЖЕРТ
ЩА : ТАКЖЕ
ЖЕРТ
ТАУЛ
ЩЕДРОТЫ БЖІА , ПРЕДСТАВИТИ

ВАДИМ КОЖИНОВ



ОТ ВИЗАНТИИ ДО ОРДЫ

ИСТОРИЯ РУСИ
И РУССКОГО СЛОВА

История допетровской Руси

Вадим Кожинов

**От Византии до Орды.
История Руси и русского Слова**

«Алгоритм»

1996

Кожин В. В.

От Византии до Орды. История Руси и русского Слова /
В. В. Кожин — «Алгоритм», 1996 — (История допетровской
Руси)

Продолжатель Феофана. Жизнеописания византийских царей. – СПб., 1992, с. 23, 25. Книга выдающегося просветителя минувшего века Вадима Валериановича Кожина (1930–2001) посвящена ранней истории России. На основе новейших источников, с присущей автору неординарностью подхода ко многим, казалось бы, известным фактам, в ней прослеживается исторический путь нашей страны от конца VII до начала XVI века. В новом свете предстает «Повесть временных лет», Хазарский каганат, Куликовская битва 1380 года и борьба с ересями... «Специальные» разделы книги могут быть интересны тем, кто ставит перед собой задачу самым доскональным образом изучить отечественную историю во всех ее предпосылках и проявлениях. Издание адресовано самым широким слоям читателей.

© Кожин В. В., 1996

© Алгоритм, 1996

Содержание

От автора	6
Глава 1. Пути русского исторического самосознания	9
Глава 2. О византийском и монгольском «наследствах» в судьбе Руси	31
Русь и «Царство ромеев»	31
Монголы и Русь	48
Глава 3. Воплощение в русском Слове «героического» периода истории Руси	58
Лев Николаевич Гумилев	70
Специальный экскурс: русская былина (старина)	71
Конец ознакомительного фрагмента.	98

Вадим Кожин
От Византии до Орды.
История Руси и русского Слова

©Ермилова Е.В., 2011

©ООО «Алгоритм-Издат», 2011

©ООО «Издательство Эксмо», 2011

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

От автора

Заглавие книги складывается из трех элементов; 1) ИСТОРИЯ РУСИ и 2) РУССКОГО СЛОВА, 3) СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД.

Начну с последнего – «современного взгляда». Те, кто стремится познать отечественную историю, обращаются сегодня, как правило, к уже давним трудам о ней, которые создали в XIX или в самом начале XX века Н. М. Карамзин, С. М. Соловьев, Н. И. Костомаров, Д. И. Иловайский, В. О. Ключевский, С. Ф. Платонов, А. Е. Пресняков. Причина этого понятна: позднейшие, появившиеся с конца 1930-х годов, курсы истории СССР (с 1917 по 1938-й такие курсы вообще не создавались) жестко подчинены экономико-политическим схемам, в них нет той полноты воссоздания пути страны, какую мы находим в дореволюционных «историях». Исходя из этого, многие люди полагают, что историческая наука с 1917 года и до наших дней вообще находилась в упадке, не дала ничего или почти ничего ценного.

Однако такое представление ошибочно, и моя книга, надеюсь, убедит в этом каждого читателя. Догматическая атмосфера лишала ученых возможности создать полноцветные *общие* курсы истории, от которых настоятельно требовали соответствия идеологическим схемам. Но многие и многие преданные своему делу исследователи опубликовали за последние десятилетия замечательные работы, посвященные *отдельным* периодам, явлениям, событиям отечественной истории, – работы, подчас представляющие собой первостепенного значения научные открытия (при этом речь идет не только об историках в «узком» смысле слова, но и о взаимодействующих с ними археологах, этнографы, краеведах, филологах и т. д.). В этой книге я ссылаюсь на *сотни* таких новейших и современных исследований, которые, кстати сказать, и пробудили во мне еще в конце 1970-х годов стремление написать эту книгу.

И, всецело признавая высокие достоинства названных выше «классиков» русской историографии, вместе с тем необходимо сознавать, что созданные ими в начале нынешнего и тем более в прошлом веке обобщающие труды в целом ряде отношений «устарели». Новейшие исследования доказали, что те или иные существеннейшие проблемы истории Руси трактовались ранее односторонне или просто неверно. Упомяну здесь хотя бы о взаимоотношениях Руси и Хазарского каганата в IX–X веках (о чем, например, немало – но на уровне знаний своего времени – писал еще Карамзин), о *смысле и значении* Куликовской битвы 1380 года (в свете новейших исследований ясно, что сказанное об этом, например, в монументальном труде Соловьева не соответствует исторической реальности), о деятельности великих русских святых Иосифа Волоцкого и Нила Сорского на рубеже XV–XVI веков (весьма односторонне охарактеризованной, скажем, Иловайским) и т. п. И главная цель моей книги в том, чтобы, опираясь на достижения классиков русской историографии, вместе с тем как можно полнее осветить научные достижения последних десятилетий.

Далее, *слово* всегда играло в отечественной истории неоценимо важную роль. Могут сказать, что правильнее было бы озаглавить книгу «История Руси и русской литературы». Но Слово является во всей своей мощи уже в русском героическом эпосе – богатырских былинах, которые веками сохранялись в устном и к тому же напевном бытии, и даже записываемые с XI века творения церковной словесности люди воспринимали главным образом из уст священнослужителей, а не из книг. Поэтому в сочинении о Руси уместнее говорить о Слове (прописная буква имеет в виду, что дело идет обо всем объеме русского словесного творчества).

Наконец, *Русь* – древнее, но всецело живое и сегодня название нашей страны. Его происхождение, о чем мы еще будем говорить, до сих пор не разгадано до конца (прямо-таки согласно строке Александра Блока: «И в тайне – ты почишь, Русь»). В течение XVI–XVII веков «Русь» постепенно заменяется наименованием «Россия», которое исходит из *византийского* варианта произнесения («рос» вместо «рус»). В этой замене выразилось, по-видимому, стремле-

ние утвердить статус страны на *всемирной* сцене (название «Россия» было принято не только в Византии, но и, например, в Италии, тесные связи Москвы с которой установились с 1470-х годов). Слово же «Русь» мы и сейчас употребляем, когда речь идет об уже давнем прошлом, а с другой стороны, оно живет как задушевное, любовное, – в частности, *поэтическое* – имя отчизны. Наиболее ранний из известных нам русских документов, в котором употреблено название «Россия», относится к 1317 году, и примерно до этого времени продолжается мое повествование «История Руси», – хотя в нем не раз заходит речь и о более поздних и даже о гораздо более поздних явлениях и событиях.

И еще одно необходимое предупреждение. В этой книге не ставится цель охарактеризовать весь ход отечественной истории с конца VIII до начала XVI века; для этого потребовался бы гораздо больший объем, – так, подробное изложение этого периода в «Истории» С. М. Соловьева занимает *пять* объемистых томов. В книге более или менее подробно говорится только об определенном круге явлений и событий истории Руси – но речь идет о наиболее весомых и судьбоносных событиях и явлениях и, как представляется, многие важнейшие вехи почти восьмивекового пути так или иначе обрисованы и определены, – чему способствуют «обзорные» вступительные главы книги: «Пути русского исторического самосознания» и «Византийское и монгольское «наследства» в судьбе России». Эти главы, в частности, вводят отечественную историю в контекст *мировой*, что, впрочем, присуще так или иначе и последующим главам книги.

Наибольшее внимание уделено в книге раннему периоду истории Руси, ее *первым* векам, и это вполне оправданное предпочтение. Дело в том, что многие, даже очень многие явления и события именно этих веков были в течение последних десятилетий, по существу, впервые *открыты* или хотя бы значительно глубже и вернее поняты, чем прежде (в XIX – начале XX века) – чему способствовали и широко развернувшиеся археологические исследования, и освоение недостаточно изученных либо вообще не известных ранее иностранных, иноязычных исторических источников. Но, конечно, в книге изложены современные представления и о более поздних судьбоносных событиях – таких, как перемещение столицы из Киева во Владимир в 1150-х годах или Куликовская битва 1380 года.

И последнее пояснение. Почти все составные части этой книги были опубликованы в течение 1988–1996 годов в периодических изданиях («Вопросы литературы», «Журнал Московской патриархии», «Наш современник», «Родина», «Российская провинция», «Российский обозреватель», «Русская литература» и др.), и мне более или менее известно, как воспринимали мои размышления читатели. Те части книги, которые посвящены «открытым» лишь в последнее время явлениям и событиям истории и культуры Руси (в особенности главы «Воплощение в русском Слове «героического периода» истории Руси» и «Современные представления об исторической реальности «героических» веков Руси»), воспринимались не без труда, ибо со многими историческими фактами, изложенными в них, большинство читателей соприкасалось впервые.

Кроме того, стремясь к действительной основательности исследования, автор уделил очень большое внимание ряду сложных и спорных проблем, имеющих первостепенную важность для осмысления истории Руси, – в особенности, вопросу о времени возникновения и дальнейшей судьбе русского богатырского эпоса (страницы 88–118 книги) и об истории становления игравшего громадную роль в IX–X веках Хазарского каганата (стр. 192–214). Эти сугубо «специальные» разделы книги могут быть по-настоящему интересны только тем, кто ставит перед собой задачу самым доскональным образом изучить отечественную историю во всех ее предпосылках и проявлениях. Но следует отметить, что в книгу вошли и вполне «общедоступные» главы – например, «Размышления о правителях Руси, начиная с князя Кия».

Наконец, нельзя не отметить, что автор на протяжении книги нередко возвращается к историческим фактам, которые уже рассматривались в предшествующих главах, однако эти

явные «повторы» объясняются не «забычивостью», а стремлением осмыслить существенные исторические факты с *разных* точек зрения, в различных аспектах, чтобы «извлечь» из них содержащийся в них *многосторонний* смысл.

В это – второе – издание моей книги внесен ряд небольших по объему, но весьма существенных по смыслу дополнений.

Глава 1. Пути русского исторического самосознания

*Читаю историю Соловьева... Читаешь эту историю и невольно приходишь к выводу, что рядом безобразий совершилась история России. Но как же так ряд безобразий произвели великое единое государство?
Лев Толстой, 1870 год*

Начну с обсуждения весьма многозначительных высказываний авторитетного ученого и мыслителя В. И. Вернадского (1862–1945) о русской истории и культуре. Почему именно с его высказываний? Во-первых, потому что перед нами не историк (хотя В. И. Вернадский много занимался специфической проблемой *истории науки*), не литературовед, не культуролог, а как бы сторонний и потому имеющий особенные основания для объективности наблюдатель и судья.

В то же время В. И. Вернадский – достаточно осведомленный человек (имея в виду названные области знания) уже хотя бы в силу того, что со студенческих лет он жил и мыслил в теснейшем общении с видными деятелями исторической науки – историком России А. А. Корниловым, историком Запада И. М. Гревсом, востоковедом С. Ф. Ольденбургом, историком русской философии князем Д. И. Шаховским, все они входили в существовавший еще с 1880-х годов кружок, который называли «братством». Едва ли случайно стал историком широкого профиля и сын Владимира Ивановича – Георгий Вернадский (1887–1973; с 1920 года – в эмиграции).

Далее, В. И. Вернадский – мыслитель, который сумел в той или иной мере стать выше искушавшей многих и многих русских людей дилеммы *западничества* и *славянофильства* (вернее, русофильства, или «почвенничества»). В принципе он тяготел к западничеству, что ясно уже из его политической деятельности: В. И. Вернадский был одним из основателей и руководителей вдохновлявшейся западноевропейскими общественными идеалами Конституционно-демократической (кадетской) партии, бессменным членом ее ЦК (как и его друзья А. А. Корнилов и Д. И. Шаховской). Но в его мировоззрении со временем установилось все же определенное равновесие историко-политических образов Запада и России. Характерно, в частности, что он – в отличие, скажем, от его близкого друга Д. И. Шаховского и почти всех остальных кадетских лидеров – отказался присоединиться к масонству, которое было нераздельно связано с Западом. Любопытны строки из незаконченных воспоминаний В. И. Вернадского, продиктованных им в 1943 году. «...передавал мне Георгий (сын-историк. – В.К.), когда он занимался масонством, что его уверяли масоны, что я был членом масонской ложи. И не верили, когда Георгий это отрицал»¹.

Итак, размышления Вернадского о своеобразии русской истории (вообще-то речь у него заходит об истории русской науки, но, как ясно из дальнейшего, под этой темой лежит как необходимый фундамент тема своеобразия истории самой России).

В 1927 году (через год после возвращения на родину из Парижа, где он находился – по сути дела в эмиграции – с 1923 года) В. И. Вернадский в одном из своих публичных выступлений заявил, что никак нельзя «оставлять без внимания то жизненное значение, которое имеет сейчас для нашей страны и для нашего народа выявление научной мысли и творческой научной работы, проникавшей их (страны и народа. – В. К.) прошлые поколения, их былое (стоит отметить, что для 1927 года это было поистине смелое высказывание, поскольку господствовали понятия о «проклятом прошлом» России. – В. К.). Это выявление, возможно более пол-

¹ Шаховская А. Д. Хроника большой жизни. – в кн.: «Прометей», т. 15, М., 1988, с. 44.

ное и глубокое, широкий охват этим знанием всего народа имеет первостепенное значение для народного самосознания»².

Начиная с темы «научной мысли и творческой научной работы», В. И. Вернадский тут же расширяет объект внимания, придает ему, так сказать, всеобщий характер, выдвигая в качестве насущнейшей цели «осознанность народом своего бытия», то есть всей своей истории в целом. И нельзя не заметить, что «задача», выдвинутая Вернадским в 1927 году, во всем объеме и во всей остроте стоит перед нами сегодня, и в этом-то состоит самый существенный повод для напоминания о размышлениях виднейшего ученого:

«Мне кажется, что... история нашего народа представляет удивительные черты, как будто в такой степени небывалые (то есть, по его мнению, не имеющие места в какой-либо другой стране, кроме России. – В. К.). Совершался и совершается огромный духовный рост, духовное творчество, не видные и не осознаваемые ни современниками, ни долгими поколениями спустя. С удивлением, как бы неожиданно для самого народа, они открываются ходом позднейшего исторического изучения.

Первой открылась взорам мыслящего человечества и осозналась нашим народом русская литература... – констатирует В. И. Вернадский. – Но великая новая русская литература вскрылась в своем значении лишь на памяти живущих людей (то есть на памяти еще живых в двадцатых годах XX века поколений. – В. К.). Пушкин выявился тем, чем он был, через несколько поколений после своего рождения. Еще в 60-х один из крупнейших знатоков истории русской литературы, академик П. П. Пекарский... ставил вопрос, имеет ли русская литература вообще какое-нибудь мировое значение или ее история не может изучаться в одинаковом масштабе с историей великих мировых литератур и имеет местный интерес, интерес исторически второстепенный. Он решал его именно в этом смысле. Это было после Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Гоголя, в расцвет творческого выявления Толстого, Достоевского, Тургенева. Сейчас взгляд Пекарского, точно выразившего народное самосознание того времени, кажется анахронизмом. В мире – не у нас – властителем дум молодых поколений царит Достоевский; глубоко вошел в общечеловеческое миропонимание Толстой. Но мировое значение русской литературы не было осознано ее народом... Когда де Вогюэ (автор восхищенной книги «Русский роман», изданной в Париже в 1886 году. – В. К.) обратил внимание Запада, в частности сперва французского, на мировое значение русской литературы, когда началось ее вхождение в общее сознание, – именно этот факт открыл глаза и тому народу, созданием которого она является. Он понял, что он создал.

Еще более ярко это самое свойство, – продолжает Вернадский, – проявляется в том еще не законченном движении, которое идет сейчас в нашем народном самосознании – в понимании нашего творчества в живописи и в зодчестве... В этом проникновении в художественную старину выявилась перед нами совершенно почти забытая, во всяком случае, совершенно не осознанная полоса огромного народного художественного творчества. В русской иконописи и в связанном с ней искусстве открылось явление, длившееся столетия (от XII до XVII века), – расцвет великого художественного творчества, стоящий наряду с эпохами искусства, мировое значение которых всеми признано. Перед нашими удивленными взорами открывается великое творчество того же порядка, как и русская литература, совершенно забытое, восстанавливаемое и оживляющееся, как в эпоху Возрождения из земли возвращалось в своих остатках античное зодчество и скульптура» (цит. соч., с. 313–314).

Итак, В. И. Вернадский усматривает «удивительные», «небывалые» черты «истории нашего народа» в том, что даже величайшие достижения осознаются с большим или же громадным (в несколько столетий!) запозданием, да еще и чуть ли не по инициативе извне, с Запада... Этот тезис о «небывалом» – то есть не свойственном ни одной стране, кроме Рос-

² Вернадский В. И. Забытые страницы. – в кн.: «Прометей», т. 15, М., 1988, с. 133.

сии, – запаздывании в осознанности собственных достижений или даже необходимости «восстановить», «возродить» как бы умершие, ушедшие в «землю» ценности вроде бы можно оспорить.

В. И. Вернадский сослался на, по-видимому, первый пришедший ему на ум пример – высказывания литературоведческого сподвижника Чернышевского, П. П. Пекарского (1827–1872). Но Пекарский в своем понимании места русской литературы в мировой, конечно же, опирался на суждения Белинского, который писал, например, в 1840-х годах:

«Всемирно-исторического значения русская литература никогда не имела и теперь иметь не может... И потому нам должно пока отказаться от всяких притязаний сравнивать и равнять русскую литературу с французскою, немецкою или английскою... Наша литература исполнена большого интереса, но только для нас, русских». Тогда же Белинский утверждал, что «Жорж Занд имеет большое значение и во всемирно-исторической литературе, не в одной французской, тогда как Гоголь, при всей неотъемлемой великости его таланта, не имеет решительно никакого (курсив Белинского. – В. К.) значения во всемирно-исторической литературе и велик только в одной русской, что, следовательно, имя Жорж Занда безусловно может входить в реестр имен европейских поэтов, тогда как помещение рядом имен Гоголя, Гомера и Шекспира оскорбляет и приличие и здравый смысл...»

Поскольку Белинский для нескольких поколений русских людей был непререкаемым авторитетом, его приговоры могут рассматриваться как доподлинное выражение «национального самосознания». Однако ведь само это рассуждение Белинского о Гоголе являло собой, как известно, остро полемический ответ на посвященную Гоголю статью славянофила Константина Аксакова и, следовательно, уже в 1840-х годах высшая ценность творчества Гоголя так или иначе осознавалась в России (ныне всемирное признание этого творчества очевидно).

Вернадский отметил, что «новая русская литература вскрылась в своем значении лишь на памяти живущих людей (он, несомненно, имеет здесь в виду и самого себя – В. К.). Пушкин выявился тем, чем он был, через несколько поколений после своего рождения». Вероятнее всего, Вернадский считал решающим моментом этого «выявления» согласно воспринятую самыми разными людьми Пушкинскую речь Достоевского, прозвучавшую в 1880 году, когда самому Вернадскому было восемнадцать лет.

Но уместно напомнить, что еще в 1827 году (когда Белинский был пензенским гимназистом), сразу после появления в печати сцены («Ночь. Келья в Чудовом монастыре») из «Бориса Годунова» – одного из первых подлинно зрелых пушкинских творений, – Дмитрий Веневитинов писал:

«Эта сцена, поразительная по своей простоте и энергии, может быть смело поставлена наряду со всем, что есть лучшего у Шекспира и Гёте». С явлением же творения в целом «не только русская литература сделает бессмертное приобретение, но летописи трагической музыки обогатятся образцовым произведением, которое станет наряду со всем, что только есть прекраснейшего в этом роде на языках древних и новых».

Мнение Веневитинова безусловно разделяли и другие «любомудры» – братья Киреевские, Владимир Одоевский, Погодин, Тютчев, стремившийся определить в 1836 году, «отчего Пушкин так высоко стоит над всеми современными французскими поэтами» (среди коих числились тогда ни много ни мало Мюссе, Ламартин, Альфред де Виньи, Беранже, Жерар де Нerval, Барбье и сам Гюго...). Впрочем, еще в 1831 году крупнейший тогда русский мыслитель Чаадаев сказал о Пушкине: «...вот, наконец, явился наш Дант».

Словом, есть вроде бы основания усомниться в правоте Вернадского, утверждавшего, что в России «совершался и совершается огромный духовный рост, духовное творчество, не видные и не осознаваемые ни современниками, ни долгими поколениями спустя».

Вернадский, в частности, выразил удивление по поводу того, что «в расцвет творческого выявления Толстого» Пекарский (и, конечно, вовсе не только он) продолжал полагать, что рус-

ская литература не имеет никакого мирового значения и «ее история не может изучаться в одинаковом масштабе с историей великих мировых литератур». Но ведь именно в то самое время, сразу же после завершения печатания «Войны и мира», Николай Страхов, подводя итог своим глубоко содержательным размышлениям о толстовской эпопее, совершенно верно утверждал, что она «принадлежит к самым великим, самым лучшим созданиям поэзии, какие мы только знаем и можем вообразить. Западные литературы в настоящее время не представляют ничего равного и даже ничего близко подходящего...» То есть современник, даже прямой ровесник Толстого, дал оценку, которая теперь является общепринятой!

И все же... все же Вернадский был по-своему прав. Ибо ясно, что высказывания и оценки Любомудров, славянофилов или «почвенников» (к которым принадлежал Страхов), не имели и сотой или, пожалуй, даже тысячной доли того общественного резонанса, каковым обладали суждения «прогрессивных» критиков и публицистов – Белинского, Чернышевского, Михайловского и т. д. Резко «сниженные» или попросту уничтожающие отзывы о «Войне и мире» в статьях таких влиятельнейших тогда авторов, как Писарев, Шелгунов, Берви-Флеровский, Зайцев, Минаев и др., совершенно заглушили голос Страхова... Едва ли расслышал его и сам достаточно чуткий Вернадский! И потребовалась позднейшая «поддержка» из-за рубежа (в частности, того же де Вогюэ, которого упоминает Вернадский), чтобы «Война и мир» получила в России действительное признание.

Эта своего рода закономерность развития русского культурного самосознания была уяснена давным-давно. Еще в 1839 году Иван Киреевский, размышляя о духовных ценностях русского Православия, утверждал:

«Желать теперь остается нам только одного: чтобы какой-нибудь француз понял оригинальность учения христианского, как оно заключается в нашей Церкви, и написал об этом статью в журнале; чтобы немец, поверивши ему, изучил нашу Церковь поглубже и стал бы доказывать на лекциях, что в ней совсем неожиданно открывается именно то, чего теперь требует просвещение Европы. Тогда, без сомнения, мы поверили бы французу и немцу и сами узнали бы то, что имеем».

В 1846 году Чаадаев, стремясь обратить внимание русских читателей на весьма ценное в его глазах сочинение Хомякова, сам переводит его на французский язык и отправляет перевод своему Парижскому знакомцу графу де Сиркуру: «...берусь за перо, чтобы просить вас пристроить в печати статью нашего друга Хомякова... наилучший способ заставить нашу публику ценить произведения отечественной литературы – это делать их достоянием широких кругов европейского общества. Как ни склонны мы уже теперь доверять нашему собственному суждению, все-таки среди нас еще преобладает старая привычка руководствоваться мнением вашей публики» (стоит отметить, что и в наше время, например, широкое признание трудов М. М. Бахтина в России совершилось лишь после высшей оценки их на Западе)³.

Таким образом, Вернадский в более обобщенном виде сказал о том, о чем русские мыслители говорили еще столетием ранее. Но размышление Вернадского приводит к очень существенному итогу, которого я еще не касался.

Говоря об «открытии» средневековой русской иконописи и зодчества, Вернадский утверждает: «Это древнее русское искусство, как сейчас ясно видно, могло возникнуть и существовать только при том условии, что оно было связано в течение поколений глубочайшими нитями со всей жизнью нашего народа, с его высокими настроениями и исканиями правды. И совершенно ясно, что его (древнерусского искусства. – В. К.) осознание есть сейчас факт крупнейшего значения в жизни нашего народа.

³ Отмечу, что автор этой книги, нередко причисляемый к «последователям славянофилов», еще в 1960 году писал о «всемирном значении» бахтинской мысли (см. об этом: «Литературная учеба», 1992, № 5–6, с. 144–145), но это убеждение стало в России широким достоянием лишь после признания М. М. Бахтина на Западе в 1980-х гг.

Сейчас, мне кажется, мы подходим к новому явлению того же характера. Начинает вырисовываться неосознанная новая сторона нашей вековой духовной работы – работы русского народа и Русского государства в научном творчестве. Настала пора его выяснения... Что, научная работа русского народа является малозаметным явлением в росте знания человечества? Что, русская мысль теряется в мировой работе? Или гений нашей страны и здесь, как и в художественном отражении нас окружающего, выявил новое, богатое, незаменимое, единственное» (цит. соч., с. 314).

И Вернадский сетует, что «нами обычно забывается связь отечественной науки с той вековой работой, которую совершили русские землепроходцы открытием северной Азии, северных морей и пролива, отделяющего Евразию от Америки. Несомненно, эта работа старых веков, XV–XVII, была по своим научным последствиям столь же высокой важности научным достижением, как то раскрытие карты мира, какое совершено было моряками Запада XIV–XVIII столетий» (цит. соч., с. 314–315).

В высшей степени важно обратить сугубое внимание на тот факт, что Вернадский подчеркнуто ставит и иконопись, и «научную работу» в нераздельную связь со всей *цельностью* истории русского народа, укореняет художественное и научное творчество во всей полноте *народно-исторического* бытия России. Разумеется, это всецело относится и к русскому словесному творчеству.

И все это имеет глубокий и острейший смысл. В силу ряда причин (о них еще пойдет речь) русская литература как бы выделена в общественном сознании (во всяком случае, в представлениях большинства людей) в некую замкнутую сферу, словно бы даже самодовлеющий мир, *возвышающийся* над русской жизнью как таковой, над отечественной историей в ее реальной земной полноте.

Я отнюдь не считаю, что русская литература, – как и культура в целом, – есть прямое «отражение» или «воспроизведение» русской жизни, такой подход к делу – это прежде всего упрощенное, примитивизирующее истолкование культуры. Гораздо более верно понятие о творениях культуры (и, конечно, литературы) как о *плодах* – своего рода «последних», высших достижениях исторического творчества, плодах, которые, в частности, вовсе не обязаны быть «похожими» на свои жизненные корни. И, представляя собой *порождения* истории, творения культуры сами естественно становятся феноменами истории; трудно спорить с тем, скажем, былины об Илье Муромце, рублевская Троица, архитектурный мир Московского Кремля, «Жизнь за Царя» Глинки, толстовская «Война и мир» или лирика Есенина – это, без сомнения, реальные факты, *события* русской истории, прямо и непосредственно *участвующие* в ней.

В то же время они, конечно, представляют собой именно *порождения* этой истории, принципиально не могущие содержать в себе ничего такого, чего не было бы в самой истории. А между тем господствует мнение, согласно которому в России была, дескать, *только* великая, безмерно богатая и полная смысла литература (и, отчасти, культура вообще). Это выражено, например, в известном всем и каждому тургеневском стихотворении в прозе 1882 года «Русский язык» (в понятие «язык» здесь, безусловно, включена литература):

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины ты один мне поддержка и опора, о, великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! – Не будь тебя – как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? – Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!»

Итак, в России *только* слово несет в себе несомненное величие, а все, что «совершается» в ней, то есть ее целостное бытие, способно вызвать лишь «отчаяние»...

Это в конце концов попросту *странное* представление (оно ведь неизбежно подразумевает, что словесное инобытие России в творениях Пушкина, Тютчева, Гоголя, Достоевского, Толстого, Лескова как бы не имеет непосредственного отношения к порождающему чувству «отчаяния» русскому бытию) все же прочно внедрилось в сознание множества людей и осо-

бенно «расцвело» после 1917 года. Так, Луначарский писал в 1924 году, что-де «почти у всякой русской писательской могилы» (далее перечислялись многие имена от Радищева до Толстого) «можно провозгласить страшную революционную анафему против старой России, ибо всех их она... обузила, обгрызла, завела не на ту дорогу. Если же все же они остались великими, то *вопреки* этой проклятой старой России, и все, что в них есть пошлого, ложного, недоделанного, слабого, все это дала им она».

Эта, так сказать, экстремистски «идеалистическая» позиция (все наиболее существенное и ценное русские классики «взяли», оказывается, из своего собственного сознания, а не из русского бытия) является, по сути дела, господствующей, – и не только по отношению к литературе. Так, в непомерно превозносимом множестве критиков кинофильме А. Тарковского «Андрей Рублев» (по моему убеждению, посредственном и, в частности, невыносимо скучном) творчество гениального иконописца никак не соотнесено с русской жизнью его времени, – даже напротив. Хотя еще в 1927 году Вернадский (его слова уже приводились) с полным основанием говорил: «Это древнее русское искусство, как сейчас ясно видно, могло возникнуть и существовать только при условии, что оно было связано в течение поколений глубочайшими нитями со всей жизнью нашего народа, с его высокими настроениями и исканиями правды».

«Отрыв» этого искусства от самой жизни русского народа принимал нередко и поистине курьезные формы. Так, в 1939 году бывший в свое время управляющим делами Совнаркома В. Д. Бонч-Бруевич вспоминал о том, как в 1918 году производилась реставрация Успенского собора в Кремле: «Владимир Ильич часто заглядывал в собор, – свидетельствовал исполнявший тогда обязанности гида Бонч-Бруевич, считавшийся, между прочим, крупным ученым, – внимательно рассматривал великолепные фрески и изображения старой итальянской живописи XV–XVI веков, которые обнаруживались после смывания мест, закрашенных различными нашими богомазами».

Как ныне хорошо известно, в основу фресок Успенского собора легла работа великого русского «иконника» Дионисия и его школы. Но при господствовавшем до самого последнего времени отношении к древнерусской культуре в это как бы невозможно было поверить. И Ленин, конечно, был убежден, что рассматривает образцы *итальянского* искусства...

Итак, в размышлениях Вернадского выявлены две характернейшие черты (можно бы и сказать: два характернейших «греха»), присущие освоению русских литературных, художественных, научных и вообще культурных ценностей: очевидное и нередко разительное «запаздывание» в их понимании и оценке и, во-вторых, более или менее решительное отделение, отрыв этих ценностей от цельного исторического бытия России (в противовес этому Вернадский утверждает, например, что русскую науку о мире начали создавать своим историческим, жизненным творчеством «землепроходцы» XV–XVII веков).

Целесообразно сразу же попытаться объяснить или, вернее, наметить пути объяснения этих «грехов», – хотя в определенном смысле именно такова задача книги в целом. Но заранее данные – пусть и эскизные – объяснения будут, как мне представляется, облегчать восприятие книги, которая во многих своих аспектах не совпадает с наиболее распространенными представлениями об истории России и русской литературы.

Тот факт, что (пользуясь определениями Вернадского) «огромный духовный рост, духовное творчество» как бы не замечаются и не осознаются «долгими поколениями спустя», обусловлен – хотя это, о чем еще пойдет речь, не единственная причина – своего рода *прерывистостью* русской истории. В настоящее время развивается, скажем, точка зрения – прежде всего в трудах Л. Н. Гумилева, – согласно которой история России в ее современном значении началась лишь к концу XIV века, а в основе *домонгольской* Руси лежала, по существу, деятельность иного этноса – иного по целому ряду существенных своих «параметров».

Подобное представление намечено – по-видимому, независимо от Л. Н. Гумилева – и в работах Д. С. Лихачева. Одна из главок его книги «Развитие русской литературы X–

XVII веков» (Л., 1973) называется так: «Обращение к «своей античности». «Вторая половина XIV – начало XV вв. характеризуются повышенным интересом к домонгольской культуре Руси, к старому Киеву, старому Владимиру и Суздалью, к старому Новгороду... – утверждает Д. С. Лихачев. – Обращение поднимающейся Москвы... к киевской, владимирской и новгородской древности соответствовало обращению Запада к классическим источникам» (с. 116, 118) – то есть к древним Греции и Риму.

Хотел или не хотел этого автор (а он приводит, кстати сказать, многочисленные примеры «возрождения» домонгольской русской культуры в XIV–XV веках), но мысль его, исходящая из «соответствия» Возрождения на Руси и на Западе, неизбежно имеет и такой оттенок: до монгольского нашествия на Руси была совсем *иная* культура. Ибо *возрождение* есть с необходимостью новое *рождение*, а не «обычное» поступательное развитие одного и того же культурного организма.

И действительно, для понимания истории культуры (и литературы) России вполне уместна идея новых рождений, или, иначе, *воскрешений*. Причем речь должна идти вовсе не только об эпохе после монгольского нашествия. Еще уместнее говорить, например, о воскрешении средневековой русской культуры в XIX – начале XX века – после эпохи Петра Великого и его преемников.

Вернадский-сын писал (между прочим, в том же самом 1927 году, когда произнес цитированную выше речь его отец) в своем «Начертании русской истории», изданном в Праге, что к последней трети XVIII века «было уничтожено четыре пятых русских монастырей (разрядка Г. В. Вернадского – В. К.)... Из 732 мужских монастырей (не считая юго-западного края) оставлено 161; из 222 женских – всего 39...⁴ Это был сокрушительный удар по всей исторической системе религиозно-нравственного воспитания русского народа... Роль суррогата Церкви в дворянском (отчасти в купеческом) обществе времен Екатерины стали играть масонские ложи...» (с. 196–197; между прочим, Г. В. Вернадский начал свою научную деятельность с углубленного изучения русского масонства).

Но дело шло вовсе не только о монастырях. С 1768 года выдающийся архитектор и не менее выдающийся масон, полномочный посредник в сношениях вождя масонов Н. И. Новикова с наследником престола великим князем Павлом Петровичем, В. И. Баженов, создает, по его собственному определению, «*проект Кремлевской перестройки*», которая ставит целью «обновить вид сего древностью обветшалого и нестройного града»⁵. К 1773 году стена и башни Московского Кремля, расположенные вдоль Москвы-реки, были уничтожены, и состоялась торжественная закладка нового, «совершенного» дворца, своего рода масонского храма, который должен был, в частности, заслонить и затмить «*нестройные*» остатки Кремля...

Однако вскоре из-за прорыва глубокого рва для дворцового фундамента дал трещины Архангельский собор – усыпальница великих князей и царей, начиная с Ивана Калиты. Это показалось чрезмерным, работы были по распоряжению Екатерины II остановлены, а затем в течение десяти лет заново возведены снесенные стена и башни Кремля (на память остался ясно видный и теперь *шов* в кремлевской стене, возникший из-за того, что восстановление стены шло с двух концов).

Но принципиально новое представление о ценностях культуры еще долго владело умами и душами людей. Не кто иной, как Николай Михайлович Карамзин (который еще в 1784 году, восемнадцатилетним юношей, стал членом масонской «Ложы Златого Венца»⁶) писал в 1803 году на страницах влиятельнейшего тогда журнала: «Иногда думаю, где быть у нас гульбищу,

⁴ Итак, из 954 монастырей 754 было ликвидировано, и осталось всего 200. в XIX – начале XX века многие монастыри были восстановлены, а также созданы сотни новых; к 1917 году в стране имелось более 1200 монастырей (см. статистику в кн.: Зыбковец В. Ф. Национализация монастырских имуществ в Советской России. М., 1975).

⁵ Памятники архитектуры Москвы. Кремль. Китай-город. Центральные площади. – М., 1982, с. 291.

⁶ См.: Пыпин А. Н. русское масонство XVIII и первой четверти XIX в. Под редакцией Г. В. Вернадского. – П., 1916, с. 516.

достойному столицы, и не нахожу ничего лучшего берега Москвы-реки между каменным и деревянным мостом, если бы можно было там сломать кремлевскую стену... Кремлевская стена нимало не весела для глаз»⁷.

Да, это написал тридцатилетний Карамзин – к тому же в том самом году, когда Александр I издал указ о его назначении *историографом*. Но серьезнейшее изучение отечественной истории и Отечественная война сделали свое дело, и в созданном именно в 1812 году (а изданном в 1816-м) VI томе своей «Истории государства Российского» Карамзин утверждал:

«Величественные кремлевские стены и башни равномерно воздвигнуты Иоанном... Таким образом Иоанн украсил, укрепил Москву, оставив Кремль долговечным памятником своего царствования, едва ли ни превосходнейшим в сравнении со всеми иными европейскими зданиями пятого-на-десять века (XV в. – В. К.)».

А ведь менее чем столетия назад Баженов на треть уничтожил Кремль, и всего девятью годами ранее сам Карамзин выражал желание сделать еще раз то же самое...

Или еще один, более поздний пример: в 1823 году Иван Киреевский был одним из создателей построенного по образцу масонской ложи «Общества любомудрия», а всего через полтора десятилетия он в поисках истины приходит к прямому продолжателю древнерусской духовной традиции старцу Оптиной пустыни Макарию. Это было своего рода показателем полного воскрешения того, что отвергла Петровская эпоха и что продолжали отвергать в течение всего XVIII столетия и начала XIX в. (необходимо учитывать, что воскрешение совершилось незадолго до того и в самой Оптиной пустыни, где восстановилась – после длительного перерыва – древняя традиция *старчества*. См. об этом: Криволапов В. Н. Оптина пустынь: ее герои и тысячелетние традиции. – «Писатель и время», вып. 6-й, М., 1991, с. 373–423).

Прежде чем двинуться дальше, необходимо хотя бы кратко высказать свое отношение к тому отвержению допетровской русской культуры (вплоть до закрытия почти 80 процентов монастырей!), которое совершилось в XVIII веке. Сегодня едва ли не большинство из тех, кто касается данной темы, оценивает это отвержение всецело «негативно». Причем речь идет вовсе не только об авторах, как говорится, «охранительно-славянофильского» умонастроения; так, например, в книге модного ныне стихотворца заостренно либерального толка Б. Чичибабина на Петра Великого обрушены безоговорочные проклятия:

Будь проклят, ратник сатаны,
Смотритель каменной мертвецкой,
Кто от нелепицы стрелецкой
Натряс в немецкие штаны.
Будь проклят, нравственный урод,
Ревнитель дел, громада плоти!..
Будь проклят тот, кто проклял Русь —
Сию морозную Элладу!

И как единственное утешение:

А Русь ушла с лица земли,
В тайнохранительные срубы...

Может показаться, что эта «позиция» имеет свое существенное обоснование и оправдание, ибо ведь в эпоху Петра было немало людей, воспринимавших императора как Антихриста, а само его время как в прямом смысле слова апокалиптическое. И автор, кстати сказать,

⁷ Карамзин Н. М. Записки старого московского жителя. – «вестник Европы», 1803, № 13, с. 280.

смягчает реальное историческое противостояние, говоря о «нелепице» стрельцкой: ведь буйные стрельцкие, казачьи и раскольничьи бунты при Петре продолжались в течение нескольких десятилетий.

Однако у людей, чьи жизненные устои рушила эпоха Петра, было действительное и несомненное *право* начисто отрицать ее: трагедия стрельцов, рельефно воссозданная в суриковском полотне, – это подлинная *трагедия*. А в трагедии, как убедительно доказывал Гегель, правы обе борющиеся не на жизнь, а на смерть стороны. Между тем историческая оценка Петровской эпохи дана, думается, *навсегда* самим Пушкиным, который не упускал из виду фигуру Петра на протяжении всего своего творческого пути.

И нынешнее проклятье по адресу Петра, если оно честно и последовательно, должно сопровождаться отрицанием одной из незыблемых основ *пушкинского* исторического мышления, которое, между прочим, являет высший образец *объективности*, «утверждение» и «отрицание» Петра здесь гениально уравновешены. Это подлинное осознание смысла эпохи, а не ее «критика» во имя тех или иных «идеалов» – нравственных, политических, социальных и т. п. (о засилье подобной «критики» и в историографии, и в, так сказать, бытовых представлениях о русской истории еще пойдет речь). Этого рода «критика» нередко закономерно сочетается со столь же поверхностной идеализацией других исторических явлений. То есть на основе поверхностного, легковесного отношения к истории одно в ней подвергается бездумной хуле, а другое – столь же бездумной хвале. Так, например, тот же Б. Чичибабин, начисто презрев глупое пушкинское осмысление фигуры Петра, вместе с тем в 1988 году безо всяких оснований «привлек» Пушкина к своему легковесному воспеванию другого исторического деятеля:

В наши сны деревенские и городские
Пробираются мраки со дна —
Только Пушкин один да один у России,
Как Россия на свете одна.
А ведь разумом Пушкин-то с Лениным сходен,
Словно свет их один породил,
И чем больше мы связи меж ними находим,
Тем светлее заря впереди⁸.

Такая стихотворная «историософия» (я говорю о стихах и о Петре, и о Пушкине с Лениным), да еще в сочинениях автора, увенчанного в 1990 году высшей премией, способна внести прискорбнейшую сумятицу в сознание людей. А ведь сочинения подобного рода появляются в последнее время чуть ли не ежедневно...

Выше закономерно возникла тема масонства, ибо в его рамках во многом складывалось и развивалось новое, *послепетровское* сознание. И опять-таки приходится сказать, что русское масонство сегодня рассматривается многими как заведомо негативное или даже попросту чудовищное явление.

Нет сомнения, что в истории масонства второй половины XVIII – первой четверти XIX века (русское масонство XX века – это совсем иное явление, и прежде всего чисто «политическое») были безусловно «темные» стороны – «темные», в частности, и в смысле своей до сих пор неясной направленности, – например, полная подчиненность иных русских масонов, начиная с Новикова, зарубежным масонским организациям. Но, с другой стороны, уже сам факт, что на рубеже XVIII–XIX веков через масонство прошли не только упомянутый Карамзин, но и такие люди, как Кутузов и Сперанский, Грибоедов и Чаадаев, и, наконец, сам Пушкин, побуждает серьезно задуматься о причинах этого устремления.

⁸ Чичибабин Борис. Клянусь на знамени. – «Лит. Россия», 1988, 14 окт., с. 5.

Разгадка, надо думать, в том, что в конце XVIII – начале XIX веков личность – в том числе личность государственного деятеля и деятеля культуры – для своего окончательного становления еще нуждалась в особенной *структуре* человеческих отношений, принципиально отличающейся от структуры государственно-сословной и церковной.

Известен выразительный эпизод, изложенный виднейшим современным историком русского масонства так: «... в 1817 или 1818 году Александр I посетил ложу «Трех добродетелей», наместным мастером которой был будущий декабрист А. Н. Муравьев. В разговоре... Муравьев... назвал Александра I по обычаю ложи на «ты». Это очень не понравилось царю»⁹. Но это, без сомнения, очень понравилось тем уже высокоразвитым личностям, которые считали нужным войти в масонство. И здесь, полагаю, один из важнейших ответов на вопрос, почему Грибоедов или Пушкин не отказались стать масонами.

С этой точки зрения своего рода «масонский» период в истории русской культуры (вторая половина XVIII – первая четверть XIX века) вполне понятен и закономерен. И есть, так сказать, естественная диалектика в том, что уже упомянутый Иван Киреевский *должен был* пройти через стадию масонообразного «Общества любомудрия», чтобы затем «вернуться» в Оптину пустынь – вернуться не под воздействием лежащего вне его личности обычая, традиции, канона (в среде образованных людей эти внешние устои Православия в послепетровские времена были во многом разрушены), но по зову, исходящему из глубины самой его личности.

В связи с темой масонства уместно сделать краткое отступление, или разъяснение, так как, вполне возможно, найдется немало людей, которым придет в голову мысль, что я придаю русскому масонству слишком большое значение. Но, поверьте, такая мысль может возникнуть только от *незнания* реального положения дел. Масонство – принципиально «тайное» и к тому же мало изучавшееся в России явление. Роль же его была очень велика.

Приведу чисто личные, но, как представляется, многозначительные «примеры». Я родился, затем учился, наконец, стал служить в трех (последовательно) московских зданиях по адресам: Большая Молчановка, дом 5 (теперь – Новый Арбат, 7), Моховая, 11, и Поварская, 25, в которых помещались соответственно родильный дом, Московский университет и Институт мировой литературы Академии наук. Все эти здания, слава Богу, сохранились и можно посмотреть на их фасады и разглядеть на них ясную *масонскую* эмблематику.

Обусловлено это, несомненно, тем, что здание университета было воздвигнуто (в 1780–1793 годах) под руководством его директора – виднейшего масона М. М. Хераскова, а особняк, в котором впоследствии разместился Институт мировой литературы, строился (закончен в 1829 году) для масона князя С. С. Гагарина; что же касается построенного в 1914 году (во время нового подъема масонства) дома, где я в 1930 году родился, мне не удалось точно выяснить, кто его заказывал и строил...

Могут сказать, что эти три факта недостаточно «представительны». Но все же вдумаясь: все три дома, сыгравшие «главную роль» в жизни одного москвича, оказываются связанными с масонством! Исходя из элементарных соображений «вероятности», придется признать, что масонство – очень широкое и влиятельное явление московской истории XVIII–XX веков...

Но вернемся к нашей основной теме.

Итак, одна из главных причин той – подчас очень длительной – недооценки явлений отечественной культуры, о которой так горячо говорил В. И. Вернадский, – чрезвычайно резкие и всесторонние перевороты в истории и, соответственно, в истории культуры, присущие России. Русская культура не раз как бы умирает и лишь гораздо позднее воскресает заново. Еще в 1830 году Пушкин писал: «... старинной словесности у нас не существует. За нами темная степь и на ней возвышается единственный памятник: «Песнь о полку Игореве». Словесность наша яви-

⁹ Старцев в. И. Масонство в России. – в кн.: За кулисами видимой власти, М., 1984, с. 83.

лась вдруг в 18 столетии...» Стоит заметить, что всего тридцатью годами ранее нельзя было бы назвать и этот «единственный памятник», ибо он еще не был открыт заново...

Но многое в России происходит поистине стремительно, и через каких-нибудь два десятилетия Пушкин уже не мог бы так говорить, поскольку целая плеяда исследователей и просто любителей российской словесности (в основном из круга славянофилов) открыла в «темной степи» (характерна в данном случае пушкинская чуткость: он сказал не о «пустыне», а о «темной степи», где трудны, но все же возможны «находки») допетровских времен неслыханные богатства словесности. Ныне же изданы, например, двенадцать объемистых томов серии «Памятники литературы Древней Руси» – и это только небольшая доля созданного и лишь меньшая часть сохранившегося до наших дней (в двенадцатитомнике нет, скажем, ни «Толковой Палеи», ни «Просветителя» Иосифа Волоцкого, ни «Степенной книги»¹⁰).

Вполне очевидно, что весь этот «сюжет» предельно актуален, ибо за последние годы происходит вполне аналогичное воскрешение культурных ценностей, как бы «умерших» после 1917-го... Таким образом, «запоздания», о коих говорил Вернадский, имеют свои существеннейшие причины.

Вернадский сказал (эти слова уже приводились), что древнерусское искусство явилось перед людьми его поколения «совершенно забытое, восстанавливаемое и оживляющееся (то есть воскресающее. – В. К.), как в эпоху Возрождения из земли возвращались в своих остатках античное зодчество и скульптура». Это действительно так, но нельзя не заострить внимания на одном способном поразить воображение отличии: ведь в эпоху Возрождения дело шло об искусстве *чужих* (и давно переставших существовать) народов Эллады и Рима, а у нас – об искусстве собственного народа... Вот оно – «небывалое» и несущее в себе глубоко драматический, даже трагедийный смысл своеобразие русской культуры... Она не раз умирает, но умирает, чтобы воскреснуть и, значит (об этом также не следует забывать!), явиться в новорожденном обаянии...

И поэтому, в частности, ложна всецело негативная оценка того же петровского (и послепетровского) «отрицания» предшествующей культуры. В этом – *своеобразие* истории России и ее культуры, а не просто некое «безобразие», как утверждали и утверждают многие авторы...

Нисколько не менее важен другой аспект проблемы, намеченный В. И. Вернадским, – недооценка или даже прямое отвержение нераздельной связи культуры (и, конечно, литературы) с историей русского народа. Вернадский настаивает, например, на том, что великое искусство иконописи «было связано в течение поколений глубочайшими нитями со всей жизнью нашего народа» и что даже любой из создателей русской научной картины мира «теснейшим образом связан с той вековой работой, которую совершили русские землепроходцы», начиная со стародавних времен.

Творения русской культуры – органические плоды истории России – таков исходный тезис. Решусь утверждать – вслед за В. И. Вернадским, – что эта проблема (культура как порождение истории России), казалось бы, достаточно ясная, изучена и тем более понята совершенно недостаточно. И дело здесь не только в выявлении того, как народно-историческое бытие «превращается», кристаллизуется в творения культуры (которые, о чем уже шла речь, не столько «отражения», «воспроизведения», сколько плоды истории, или, иначе, ее высший цвет). Дело и в том, что само имеющееся налицо научное освоение русской истории в силу целого ряда причин не способствует решению поставленной проблемы. Так, наиболее известные курсы истории России – это в своей основе «критические» или даже заостренно «критицистские» курсы, далекие от объективного понимания и толкования.

В недавней обращенной к широкому читателю книге о С. М. Соловьеве его двадцатидевятилетняя «История России с древнейших времен» оценена так: «...он создал наиболее пол-

¹⁰ Это наиболее крупные творения древнерусского Слова.

ную, цельную и... наиболее обоснованную концепцию истории России, ставшую вершиной... историографии»¹¹.

Но есть и совсем другая оценка (разумеется, даже и не упомянутая в только что цитированной книге). Окончив «Войну и мир», Толстой взялся – уже не в первый раз – за чтение изданных к этому времени томов «Истории...» Соловьева и написал 4–5 апреля 1870 года в своем дневнике следующее:

«Читаю историю Соловьева. Все, по истории этой, было безобразие в допетровской России: жестокость, грабеж, правед, грубость, глупость, неумение ничего сделать... Читаешь эту историю и невольно приходишь к заключению, что рядом безобразий совершилась история России.

Но как же так ряд безобразий произвели великое единое государство?

Но кроме того, читая о том, как грабили, правили, воевали, разоряли (только об этом и речь в истории), невольно приходишь к вопросу: что грабили и разоряли?.. Кто и как кормил хлебом весь этот народ?.. Кто ловил черных лисиц и соболей, которыми дарили послов, кто добывал золото и железо, кто выводил лошадей, быков, баранов, кто строил дома, дворцы, церкви, кто перевозил товары? Кто воспитывал и рожал этих людей единого корня? Кто блюл святыню религиозную, кто сделал, что Богдан Хмельницкий передался России, а не Турции или Польше?..

История хочет описать жизнь народа – миллионов людей. Но тот, кто... понял период жизни не только народа, но человека... тот знает, как много для этого нужно. Нужно знание всех подробностей жизни... нужна любовь.

Любви нет и не нужно, говорят. Напротив, нужно доказывать прогресс, что прежде все было хуже...»

Вопросы, которые как бы ставит перед Соловьевым, да и большинством историков России Толстой (важно напомнить, что Толстой отнюдь не принадлежал к пристрастным «русифилам» и догматическим патриотам), можно бы до бесконечности множить. Как совместить, например, представленное в их сочинениях сплошное «безобразие» русской истории с такими ее плодами, как «Слово о законе и Благодати» Илариона, храм Покрова на Нерли, «Предание» Нила Сорского» фрески Дионисия в Ферапонтовом монастыре и т. п.?

Толстой выявляет один из главнейших и поистине тиранических «стимулов», руководивших множеством историков России, – идею «прогресса» – едва ли не самую популярную и едва ли не самую легковесную из «идей» XVIII–XX веков. Историки не столько изучают историю, сколько *судят или*, вернее, даже *осуждают* ее в свете этой «идеи». К тому же идея эта, если можно так выразиться, оказывается предельно беспринципной.

Так, характеризуя эпоху конца XI – начала XIII веков, Русь беспощадно судят за «феодальную раздробленность», а переходя ко времени конца XV–XVI века, те же самые историки проклинают «деспотизм» российского единовластия. А между тем совершенно, казалось бы, бесспорно, что без этой самой «раздробленности» не могла бы создаться самобытная жизнь и культура Новгорода, Пскова, Твери, Ростова, Рязани и т. д., а без «единовластия» все это многообразное богатство не смогло бы слиться в великую общерусскую жизнь и культуру. И, между прочим, эта историческая «диалектика» (единое государство – раздробленность – новое единство и, как правило, «деспотическое») присуща истории *всех* основных стран Западной Европы, а вовсе не одной России...

Толстой говорит, что для познания истории нужна «любовь». Это звучит вроде бы совсем «ненаучно». Но если под этим понимать *приятие* тех или иных периодов и явлений русской истории такими, каковы они есть, толстовское слово вполне уместно. Известно превосходное пушкинское требование: «Драматического писателя должно судить по законам, им самим над

¹¹ Иллерицкий В. Е. Сергей Михайлович Соловьев. – М., 1980, с. 175.

собою признанным», – то есть принимать его творение в его реальном своеобразии. Это, в сущности, применимо и к исторической эпохе, тем более что Пушкин не раз сближал драму (где «автора» как бы и нет, а есть только поступки и высказывания героев) с «драмой» самой истории и, естественно, с воссозданием этой «драмы» в сочинении историка. Он писал о «падении Новгорода» в противоборстве с Москвой в XVI веке:

«Драматический поэт, беспристрастный, как судьба, должен был изобразить... отпор погибающей вольности как глубоко продуманный удар, утвердивший Россию на ее огромном основании. Он не должен был хитрить и клониться на одну сторону, жертвуя другою. Не он, не его политический образ мнений, не его тайное или явное пристрастие должно было говорить в трагедии, но *люди минувших дней, их умы, их предрассудки. Не его дело оправдывать и обвинять, подсказывать речи. Его дело воскресить минувший век во всей его истине*» (выделено мною. – В. К.).

В этом рассуждении Пушкина вполне уместно будет заменить «драматического поэта» историком. И та «любовь», о которой как о необходимом качестве историка писал Толстой, – это любовь, или, скажем более нейтрально, *приятие* не Москвы и не Новгорода (тут-то как раз требуется «беспристрастие» в отношении борющихся и имеющих каждая свою *правоту* сил), а приятие самой великой *драмы* (или даже трагедии) Истории.

Пушкин и как художник, и как историк обладал этой чертой в высшей степени. В «Борисе Годунове» беспристрастно воссозданы и Борис, и Григорий Отрепьев, и все остальные; столь же беспристрастен Пушкин (о чем уже сказано) и в художественном, и в собственно историографическом воссоздании Петра и его непримиримых врагов.

О несравненном, в сущности уникальном даре и умении Пушкина точно говорит посвятивший свою жизнь познанию его наследия В. С. Непомнящий, исходящий, по его определению, из «фундаментального, основополагающего качества мироощущения Пушкина, а именно: для него *бытие есть безусловное единство и абсолютная целостность*, в которой нет ничего «отдельного», «лишнего» и самозаконного – такого, что нужно было бы для «улучшения» бытия отрезать и выбросить... Смерти и убийства, измены, предательства, виселицы и яд, трагические разлуки любящих, бушевание разрушительных природных и душевных стихий, крушение судеб, холодность и эгоизм, смертоносное могущество мелочных предрассудков и низменных устремлений – все это буквально наводняет и переполняет мир Пушкина... Почему, невзирая на весь трагизм этого мира, мы обращаемся к Пушкину вовсе не как к трагическому гению света, рыцарю Жизни?..»

Суть в том, подводит итог В. С. Непомнящий, что Пушкин «именно «во всей истине»... «воскрешает» изображаемые события.

Во всей истине...

Если у большинства из нас роль точки отсчета играет какая-то часть истины, понятная нам и устраивающая нас, то у Пушкина такой точкой отсчета является «вся истина», вся правда, целиком, никому из людей, в том числе и автору, персонально не принадлежащая и не могущая принадлежать. Эта «вся истина» и есть солнце пушкинского мира, и вот почему, будучи полным сумрака и зла, он так светел и солнечен. Ведь правда, полная правда дает ясность, то есть верное представление о реальном порядке и реальной связи вещей... Без такого представления... невозможна *полная жизнь*, в которой человеческий дух только и может находить радость. Мир Пушкина светел потому, что это не хаос, из которого можно извлечь любые комбинации элементов, вызывающие ужас или ненависть, тоску или отрицание ценностей, ощущение бессмыслицы и безнадежности, желание «все утопить» («Сцена из Фауста») или все перекрыть по-своему... (а именно так и подается история России в массе сочи-

нений! – В.К.); мир Пушкина – это в своем изначальном существе космос... в котором все неслучайно, все неспроста, все осмысленно и по сути своей прекрасно...»¹²

Это относится, конечно, вовсе не только к художественным творениям Пушкина, но и ко всему его наследию – в том числе и собственно историографическим сочинениям и заметкам. Но пушкинская традиция, увы, почти не продолжена. В исторических трудах о России весьма редко встречается это «беспристрастие», это приятие истории как она совершалась; выше шла речь о типичных нынешних «проклятьях» по адресу Петра или масонства рубежа XVIII–XIX веков (и это, понятно, только два частных «примера»).

И потому, ставя перед собой цель «вывести» русскую литературу из истории, показать, как она рождается из истории, необходимо заняться и непосредственно самой русской историей, или, по меньшей мере, русской историографией, – с целью выявить и выставить в ней на первый план те сочинения, где русское историческое бытие воссоздано объективно, а не подвергается постоянной «критике», «суду» во имя «прогресса» и других отвлеченных и поверхностных «идеалов».

Размышляя о всецело господствующем критицизме в отношении русской истории – критицизме, нередко приобретающем поистине экстремистский характер, – необходимо уяснить его наиболее глубокую основу.

Обращусь для этого к фигуре Ивана Грозного. Безусловное большинство историков и, далее, публицистов, писателей и т. п. рассматривают его как заведомо «беспрецедентного» и, в сущности, даже попросту патологического тирана, деспота, палача.

Нелепо было бы оспаривать, что Иван IV был деспотическим и жестоким правителем; современный историк Р. Г. Скрынников, посвятивший несколько десятилетий изучению его эпохи, доказывает, что при Иване IV Грозном в России осуществлялся «массовый террор», в ходе которого «было уничтожено около 3–4 тыс. человек»¹³, – причем уничтожено во многих случаях явно безвинно и к тому же зверски, с истязаниями и наиболее тяжкими способами казни.

Но нельзя все же забывать или, вернее, не учитывать, что западноевропейские *современники* Ивана Грозного – испанские короли Карл V и Филипп II, король Англии Генрих VIII и французский король Карл IX самым жестоким образом казнили *сотни тысяч* людей. Так, например, именно за время правления Ивана Грозного – с 1547 по 1584 – в одних только Нидерландах, находившихся под властью Карла V и Филиппа II, «число жертв... доходило до 100 тыс.»¹⁴ – причем речь идет прежде всего о казненных или умерших под пытками «еретиках» (кстати, даже те, кто не изучал специально историю Европы, знают о чудовищном и даже садистском терроре Филиппа II из популярного исторического романа Шарля де Костера «Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке»).

Предельная жестокость казней выражалась в том, что значительная часть жертв сжигалась заживо на глазах огромной толпы и, как правило, в присутствии самих королей; по вполне достоверным сведениям, было «сожжено живьем 28 540 человек»¹⁵. Стоит сказать о том, что массовый террор XVI века нередко целиком «списывают» на инквизицию. Но это неверно; в Англии вообще не было инквизиции, а террор был не менее массовым (см. ниже); еще более важно отметить, что инквизиция представляла собой только судебную инстанцию, а приговор приводился в исполнение по воле королевской власти и ее средствами.

Французский король Карл IX 23 августа 1572 года принял активное «личное» участие в так называемой Варфоломеевской ночи, во время которой было зверски убито «более 3 тыс.

¹² Непомнящий В. Пророк. Художественный мир Пушкина и современность. – «Новый мир», 1987, № 1, с. 137, 138, 139–140.

¹³ Скрынников Р. Г. Иван Грозный. – М., 1975, с. 191.

¹⁴ Григулевич И. Р. История инквизиции. – М., 1970, с. 271.

¹⁵ Лозинский С. Г. История папства. – М., 1986, с. 262.

гугенотов»¹⁶ – только за то, что они принадлежали к протестантству, а не к католицизму; таким образом, *за одну ночь* было уничтожено примерно столько же людей, сколько *за все время* террора Ивана Грозного! «Ночь» имела продолжение, и «в общем во Франции погибло тогда в течение *двух недель* около 30 тыс. протестантов» (цит. соч., с. 264. – Выделено мною. – В. К.).

В Англии Генриха VIII только за «бродяжничество» (дело шло в основном о согнанных с превращаемых в овечьи пастбища земель крестьянах) вдоль больших дорог «было повешено 72 тысячи бродяг и нищих»¹⁷.

Словом, если на Руси Ивана Грозного было казнено 3–4 тысячи человек (об этом говорит не только Скрынников, но и другой современный историк, также несколько десятилетий изучавший эпоху: «жертвами царского террора стали 3–4 тыс. человек»; однако он почему-то тут же умозаключает, что-де «царский произвол приобретал... характер абсолюта¹⁸, то есть «беспрецедентный» характер), то в основных странах Западной Европы (Испании, Франции, Нидерландах, Англии) в те же времена и с такой же жестокостью, а также сплошь и рядом «безвинно» казнили никак не менее 300–400 тысяч человек! И все же – как это ни странно и даже поразительно – и в русском, и в равной мере западном сознании Иван Грозный предстает как ни с кем не сравнимый, уникальный тиран и палач...

Сей приговор почему-то никак не колеблет тот факт, что количество западноевропейских казней тех времен превышает русские *на два порядка, в сто раз*; при таком превышении, если воспользоваться популярной в свое время упрощенной гегельянской формулой «количество переходит в качество», и зловещий лик Ивана Грозного должен был вроде бы совершенно померкнуть рядом с чудовищными ликами Филиппа II, Генриха VIII и Карла IX. Но этого не происходит. Почему? Кто повинен в таком возведении Ивана IV в высший ранг ультратирани и свержпалача, хотя он безнадежно «отставал» с этой точки зрения от своих западноевропейских коронованных современников?

Нет сомнения, что в этом повинны русские общественные деятели, историки, публицисты, да и русские люди вообще. Но с определенной точки зрения главным виновником этого представления об Иване Грозном как о совершенно исключительном, из всех рядов выходящем тиране и палаче является... сам Иван Грозный, который, например, в 1573 году (то есть через год после отмены *опричнины*) в своем получившем широкую известность послании в Кирилло-Белозерский монастырь обвинял себя «в скверне, во убийстве... в ненависти, во всяком злодействе», в том, что он – «нечистый и скверный душегубец»¹⁹.

Вполне естественно было счесть Ивана Грозного непревзойденным душегубцем, если уж он и сам это всецело признает... К тому же позднее, в 1582 году, Иван Грозный официально объявил о «прощении» (как бы сказали ныне, реабилитации) всех казненных при нем людей и передал в монастыри огромные деньги для их вечного поминания, – по сути дела, полностью признав их пострадавшими безвинно...

Ничего подобного *никогда* не делали западноевропейские властители – современники Ивана Грозного. Не менее характерно и то, что западная Церковь всячески одобряла и благословляла казни; так, сообщает историк, «папа Григорий XIII при известии о «подвигах» Варфоломеевской ночи иллюминировал Рим и важнейшие пункты своей области, выбил медаль в честь этого богоугодного дела и отправил в Париж кардинала Орсини для поздравления «христианнейшего короля и его матери» – Карла IX и Екатерины Медичи»²⁰.

¹⁶ Большая советская энциклопедия, третье издание, т. 4, М., 1971, с. 312.

¹⁷ Осинковский И. Н. Томас Мор. – М., 1974, с. 62.

¹⁸ Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России. Государство Ивана Грозного. – Л., 1988, с. 147, 122.

¹⁹ Памятники литературы Древней Руси. вып. 8-й, М., 1988, с. 144, 145.

²⁰ Лозинский С. Г. История папства. – М., 1986, с. 264–265.

Между тем именно в это время митрополит Московский Филипп в Успенском соборе принародно отказался благословить Ивана Грозного (несмотря на его троекратную просьбу об этом), во всеуслышание сказав: «За олтарем неповинно кровь льется христианская, и напрасно умирают». Филипп был сослан в Тверь и, по преданию, тайно убит там, но уже в 1591 году, всего через семь лет после смерти царя, его причислили к лику святых. И святитель Филипп – один из наиболее почитаемых на Руси.

Менее широко известен его прямой предшественник (образ Филиппа как бы заслонил его) – святитель Герман. Он принадлежал к славному роду Полевых, неразрывно связанному с деятельностью одного из величайших русских святых Иосифа Волоцкого – человека несгибаемого духа и воли, бесстрашно выступавшего против Ивана III (и затем многократно оклеветанного историками и публицистами, что длится и в наше время). В мае 1566 года (опричный террор начался в 1565) Иван Грозный возвел Германа Полева в сан митрополита, но новый глава Церкви тут же объявил, что царя ждет Страшный суд за содеянное. Иван Грозный отрёшил Германа от его поста, и 27 июля 1566 года митрополитом (до 4 ноября 1568 года) стал Филипп, в конечном счете пошедший по пути Германа.

Резкий контраст в отношении к злодейству главы западной и глав русской Церкви в высшей степени характерен. О причинах этого контраста писали многие русские мыслители и писатели. Приведу размышление И. В. Киреевского о различии «западного» и русского человека:

«Западный, говоря вообще, почти всегда доволен своим нравственным состоянием, почти каждый из европейцев всегда готов, с гордостью ударяя себя по сердцу, говорить себе и другим, что совесть его вполне спокойна, что он совершенно чист перед Богом и людьми... Русский человек, напротив того, всегда живо чувствует свои недостатки... даже в самые страстные минуты увлечения всегда готов осознать его нравственную незаконность».

И слова Достоевского: «...Пусть в нашем народе зверство и грех, но вот что в нем неоспоримо: это именно то, что он, в своем целом, по крайней мере (и не в идеале только, а в самой заправской действительности) никогда не принимает, не примет и не захочет принять своего греха за правду!»²¹

С этой русской «чертой» жестко столкнулись в XX веке большевики: в 1908 году Ленин, исходя из впечатлений только что закончившейся первой русской революции, писал о Толстом: «С одной стороны, замечательно сильный, непосредственный и искренний протест против общественной лжи и фальши, – с другой стороны, «толстовец», т. е. истасканный, истеричный хлюпик, называемый русским интеллигентом, который, публично бил себя в грудь, говорит: «я скверный, я гадкий...»

Как ни странно, автор этих памфлетных строк не вдумался в тот факт, что обе «стороны» на самом деле едины и неразрывны: бескомпромиссный протест против лжи и фальши в обществе, и в равной мере в *самом себе*. И напрасно здесь сказано «русский интеллигент»; на следующей же странице Ленин сам себя опроверг:

«В нашей революции... совсем небольшая часть поднималась с оружием в руках на истребление своих врагов. Большая часть крестьянства плакала и молилась... совсем в духе Льва Толстого». И даже более того: «Не раз власть переходила в войсках в руки солдатской массы, – но... через пару дней, иногда через несколько часов, убив какого-нибудь ненавистного начальника, они освобождали из-под ареста остальных, вступали в переговоры с властью и затем становились под расстрел, ложились под розги... – совсем в духе Льва Николаевича Толстого!»²²

²¹ См. подробную характеристику безграничного стремления русских людей к крайнему «самокритицизму», самоосуждению в моей статье «И назовет меня всяк сущий в ней язык». Заметки о духовном своеобразии России» («Наш современник», 1981, № 11, или в книге: Вадим Кожин. Судьба России: вчера, сегодня, завтра. М., 1990).

²² Ленин В. И. О литературе и искусстве. – М., 1986, с. 132, 133, 134.

Здесь совершенно правильно выявлено *единство* общего народного представления о добре и зле, равно присущего графу и великому писателю Толстому и каждому, любому крестьянину, – в том числе и облаченному в солдатскую форму. Против этого сформировавшегося в течение веков русского нравственного склада и боролись всеми силами большевики...

Могут сказать, что большевикам, начиная с 1917 года, удалось «переделать» русский народ, вышибить из него его извечную сущность. Но следует задуматься над тем, что за все три с половиной десятилетия (1918–1933) массового террора в России среди людей, принимавших главные, основные решения, почти не было русских; когда же после смерти Сталина-Джугашвили во главе страны впервые после 1917 года оказались русские, террор сразу же прекратился; с 1954 по 1984 год в стране не было *ни одной* политической казни (не считая убитых при подавлении «бунтов», что бывает в любой стране).

Но вернемся к Ивану Грозному. Не кто иной, как Сталин, резко осудил его за его «русскость»: «Иосиф Виссарионович отметил, что он (Иван IV. – В. К.)... не довел до конца борьбу с феодалами, – если бы он это сделал, то на Руси не было бы Смутного времени... Грозный ликвидирует одно семейство феодалов, один боярский род, а потом *целый год кается и замаливает «грех»* (именно так – в кавычках. – В. К.), тогда как ему нужно было бы действовать...»²³

Но если уж сам Иван Грозный так себя вел, вполне понятно отношение к нему. Его западные современники Генрих VIII или Карл V – исключительно высоко почитаемые в своих странах исторические деятели, которым воздвигнуты гордые памятники. Между тем даже памятник Тысячелетия России в Новгороде (1862), где воссозданы облики 109 русских деятелей, отвергнул Ивана Грозного; его фигура там отсутствует (не говоря уже о «специальных» монументах – их нет).

И Россия сумела убедить и себя, и весь остальной мир, что угнетателя и злодея таких масштабов никогда дотолле не рождала Земля. Одно из не столь уж крупных выражений мирового зла было превращено в будто бы уникальное, ни с чем не сопоставимое на Земле «чисто русское зло».

Подчас те или иные историки пытались как-то «скорректировать» это заведомо ложное представление. Так, например, польский историк России Казимир Валишевский писал в своем сочинении «Иван Грозный» (1904): «В свой век Иван имел пример... в 20 европейских государствах, нравы его эпохи оправдывали его систему... Просмотрите протоколы... того времени. Ужасы Красной площади покажутся вам превзойденными. Повешенные и сожженные люди, обрубки рук и ног, раздавленных между блоками... Все это делалось среди бела дня, и никого это не удивляло, не поражало»²⁴.

Но возражение Валишевского (хотя он был в свое время очень популярным автором) отнюдь не было услышано. И существенную причину этого невольно, бессознательно объяснил сам Валишевский, заметив, что на Западе массовое и жесточайшее уничтожение людей «никого не удивляло, не поражало». Совсем по-иному обстояло дело в России...

В последнее время в одном из обращенных к широкому читателю сочинений была предпринята попытка снять ореол «исключительности» с террора Ивана Грозного: «Иван IV был сыном... жестокого века», – пишут видные историки этой эпохи, – с присущим ему «истреблением тысяч (на деле – *сотен тысяч*. – В. К.) инакомыслящих... деспотическим правлением монархов, убежденных в неограниченности своей власти, освященной церковью, маской ханжества и религиозности прикрывавших безграничную жестокость по отношению к подданным... Французский король Карл IX сам участвовал в беспощадной резне протестантов в Варфоломееву ночь, 24 августа 1572 г., когда была уничтожена добрая половина родовой французской знати. Испанский король Филипп II... с удовольствием присутствовал на бес-

²³ Черкасов Н. К. Записки советского актера. – М., 1953 с. 382, 383.

²⁴ Валишевский К. Иван Грозный. – СПб., 1912, с. 291–292.

конечных аутодафе на площадях Вальядолида... В Англии, когда возраст короля или время его правления были кратны числу «семь», происходили ритуальные казни: невинные жертвы должны были якобы искупить вину королевства. По жестокости европейские монархи XVI в... были достойны друг друга»²⁵.

Но это – только небольшая «оговорка» в сочинении, которое в целом не выходит за рамки привычного возведения Ивана Грозного в «сверхпалачи». Так, авторы бегло отмечают, что «цена, которую уплатила Россия за ликвидацию политической раздробленности, не превосходила жертв других народов Европы, положенных на алтарь централизации. Первые шаги абсолютной монархии в странах Европы сопровождались потоками крови подданных» (там же, с. 132). Тут бы и указать, что эти «потоки» на Руси в действительности были в сто раз менее «полноводными»... но слишком сильна инерция. И уже после издания цитируемой работы, непосредственно в наше время 1991 г.) появляется сочинение воинствующего разоблачителя «русского безобразия» В. Б. Кобрин, который пишет, что-де эпохе Ивана Грозного присущ «невероятный масштаб репрессий, кажущийся *избыточным*²⁶. «Невероятный», «избыточный» – по сравнению с чем? С сотнями тысяч замученных и казненных тогда в Испании, Франции, Англии, Голландии? Кобрин ссылается на, так сказать, бесспорный авторитет: «В. И. Ленин, – пишет он, – подчеркивал, что русское самодержавие «азиатски-дико», что «много в нем допотопного варварства» (там же, с. 146). Но ведь европейцы Филипп II или Карл IX поистине грандиозно превзошли «азиата» Ивана IV!.. Кобрин оспаривает количество жертв террора, выясненное Р. Г. Скрынниковым: «Погибло, – пишет он, – от трех-четырёх тыс. (по подсчетам Р. Г. Скрынникова) до 10–15 тыс. человек (как полагает автор настоящего очерка)» (цит. изд., с. 137).

Различие в том, что Скрынников опирается на тщательнейшее изучение вопроса, а Кобрин попросту «полагает». Но ведь и у него речь идет все-таки максимум о полутора десятках тысяч, а не о сотнях тысяч, как в Западной Европе... Почему же Кобрин твердит о «невероятном масштабе репрессий» и повторяет ленинские изречения о некоей «азиатской дикости» и «допотопном варварстве»? Ленина, между прочим, еще можно «понять»: он стремился как-то «оправдать» революционный террор. Но для чего Кобрин пытается внушить читателям, что-де «русский» террор «невероятен» по масштабу? При этом Кобрин идет на сознательную ложь, ибо в его сочинении все же промелькнуло знание реального положения вещей: «По всей Европе, – написал он, – в те времена, когда идет становление единых государств, как по заказу появляются на престолах тираны – Людовик XI во Франции, Генрих VIII в Англии, Филипп II в Испании... Не закономерность ли?» (цит. соч., с. 145). Вот бы и поговорить об этой «закономерности» и действительных «масштабах» порождаемых ею репрессий в Европе и, с другой стороны, в России. Но Кобрин более ничего об этом не сказал, и, конечно же, его цитированная только что фраза едва ли окажет какое-либо воздействие на читателей. У этого автора главная цель – проклясть в лице Ивана Грозного саму Россию...

Сокрушительные проклятья по адресу Ивана Грозного начались при его жизни и продолжают до нашего времени. И их невозможно и ни в коем случае не следует прекращать – иначе *мы перестанем быть русскими*.

Но вместе с тем необходимо все же глубоко и основательно понять, что дело вовсе не в некоей исключительности, некоем «превосходстве» русского зла над *мировым злом*, а, если угодно, в исключительности *русского отношения к своему, русскому злу*.

Мы еще вернемся к этой теме; здесь же скажу так: нам следует в конечном счете не сгорать от стыда за то, что у нас был Иван Грозный (ибо ведь он далеко «отстал» в сеянии зла

²⁵ Зимин А. А., Хорошкевич А. Л. Россия времени Ивана Грозного. М., 1982, с. 125.

²⁶ Кобрин В. Б. Иван Грозный: Избранная рада или опричнина. – в кн.: История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории России IX – начала XX вв. М., 1991, с. 161.

от своих испанских, французских, английских современников), а с полным правом гордиться тем, что мы, русские, вот уже четыреста с лишним лет никак не можем примириться со злом этого своего царя...

Впрочем, это явно напрасная надежда: русские люди в своем большинстве все равно будут терзаться тем, что у них был Иван Грозный.

Стоит привести в связи с этим еще один выразительный «пример». В 1847 году Александр Герцен эмигрировал из России, поскольку считал свою родину средоточием зла, своего рода «апогей» которого он видел в казни пяти участников восстания 14 декабря. Он не мог не знать, что с 1773 (подавление пугачевского бунта и казнь шести его главарей) и до 1847-го – то есть почти за 75 лет, – казнь декабристов была *единственной* казнью в России. И все же он отказывался жить в стране, где возможна такая неслыханная жестокость.

Однако не прошло и полутора лет после отъезда Герцена в благословенную Европу, и непосредственно на его глазах были в течение всего трех дней расстреляны *одинадцать тысяч* участников парижского июньского восстания 1848 года. Поначалу бедный Герцен почти обезумел от ужаса и написал своим друзьям в Москву совершенно «недопустимые» слова: «Дай Бог, чтобы русские взяли Париж, пора окончить эту тупую Европу!..» Сообразив, что его оголтелые западнические друзья будут крайне возмущены таким пожеланием, он бросил им обвинение: «Вам хочется Францию и Европу в противоположность России так, как христианам хотелось рая – в противоположность земле...

Я стыжусь и краснею за Францию...

Что всего страшнее, что ни один из французов не оскорблен тем, что делается...»

Это последнее наиболее важно: Герцен «стыдится», а французы – нисколько. Но Герцен все же остается русским: отдышавшись после шока 1848 года, он через восемь лет начал издавать в Лондоне альманах «Полярная звезда», на обложку которого поместил силуэты пяти мучеников-декабристов – как неумолимый укор России. И Европа «согласилась» с Герценом: в массе изданных там сочинений казнь декабристов квалифицируется как выражение беспрецедентной жестокости, присущей именно России...

Могут сказать, что после 1917 года Россия сравнялась или даже превзошла Запад с точки зрения массовости и жестокости террора. Однако нетрудно доказать, что после Октября началось очевидное подражание типичному для Запада революционному террору. Вот очень выразительная последовательность руководящих указаний Ленина.

Через десять дней после Октябрьского переворота, 17 ноября 1917 года, он заявил: «Нас упрекают, что мы применяем террор, но террор, какой применяли французские революционеры, которые гильотинировали *безоружных* людей (тогда было гильотинировано публично более 16 тысяч человек. – В. К.), мы не применяем» (Полн. собр. соч., 3-е изд., т. 35, с. 63). Таким образом, русская революция здесь прямо противопоставлена французской, которая, помимо гильотинирования, топила переполненные людьми барки, палила из пушек картечью по связанным вместе веревками десяткам и сотням крестьян и т. п.

Однако прошло немногим более полугода, и Ленин «пересматривает» свою позицию в директивной речи 5 июля 1918 года: «Нет, революционер, который не хочет лицемерить, не может отказаться от смертной казни. Не было ни одной революции и эпохи гражданской войны, в которых не было бы расстрелов»; в частности те, кто «не хочет продавать хлеб по ценам, по которым продают средние крестьяне, те – враги народа, губят революцию и поддерживают насилие, те – друзья капиталистов! Война им и война беспощадная!» (т. 36, с. 503, 506). Это полностью соответствует практике французской революции, только вместо «друзья капиталистов» там говорилось «друзья аристократов» (из числа казненных около 90 процентов не принадлежали ни к аристократии, ни к духовенству).

20 августа 1918 года Ленин так отвечает на западноевропейские обвинения: «О, как гуманна и справедлива эта буржуазия! Ее слуги обвиняют нас в терроре... Английские буржуа

забыли свой 1649-й, французы свой 1793 год» (т. 37, с. 59). И 10 ноября 1918-го о расстреле Николая II: «...В Англии и Франции царей казнили еще несколько сот лет тому назад, это мы только опоздали с нашим царем» (там же, с. 177).

Именно обращением к Французской революции Ленин обосновывает и оправдывает террор, направленный уже не против «капиталистов», а против *народа* как такового. В июле 1919 года он пишет:

«Никогда не бывало в истории и не может быть в классовом обществе гражданской войны эксплуатируемой массы с эксплуататорским меньшинством без того, чтобы часть эксплуатируемых не шла за эксплуататорами, вместе с ними, против своих братьев. Всякий грамотный человек признает, что француз, который бы во время восстания крестьян в Вандее за монархию и за помещиков стал оплакивать «гражданскую войну *среди крестьян*», был бы отвратительным по своему лицемерию лакеем монархии» (т. 39, с. 143).

Крестьяне Вандеи (северо-западная часть Франции) выступили против нового, гораздо более жестокого деспотизма революции, и «по наивысшим оценкам погиб 1 млн. человек, а по наиболее вероятным – 500 тыс... В результате... целые департаменты обезлюдели»²⁷. Поскольку во Франции было тогда примерно 20 млн. крестьян, только в Вандее их, следовательно, погибло от 2,5 до 5 процентов... Это вполне соответствует доле уничтоженных на Дону и на Тамбовщине в 1919 и 1921 годах крестьян России. Так что после 1917 года Россия действительно «догнала» Запад по размаху террора. Но это отнюдь не вытекало из русских «традиций», что ясно видно из многократных апелляций Ленина к западноевропейскому «опыту», А. И. Солженицын с полной обоснованностью сказал в своем «Архипелаге ГУЛАГ»: «Если бы чеховским интеллигентам, все гадавшим, что будет через двадцать – тридцать – сорок лет, ответили бы, что через сорок лет на Руси будет... ни одна бы чеховская пьеса не дошла до конца, все герои пошли бы в сумасшедший дом. Да не только чеховские герои, но какой нормальный русский человек в начале века, в том числе любой член РСДРП, мог бы поверить, мог бы вынести такую клевету на светлое будущее?»²⁸ Да, русская жизнь не готовила людей к столь массовому и беспощадному террору...

И еще одно необходимое замечание. В 1989 году Франция самым торжественным и восторженным празднеством встретила юбилей своей революции. Между тем, как мне представляется, в России отныне, после – пусть и неполного – выявления истинной картины революции, вряд ли когда-либо будет возможно ее восхищенное прославление (хотя, конечно, историография еще даст *объективный* анализ совершившегося), – так же, как невозможно в России «оправдание» Ивана Грозного...

И вот какой итог следует подвести предшествующим размышлениям. Говоря об отечественной истории, необходимо различать две принципиально разные вещи: *реальное* содержание и значение той или иной эпохи, того или иного явления и, с другой стороны, русское *нравственное отношение* к этим эпохам и явлениям, нашу этическую «оценку» их. Ничто не заставит русских людей «отменить» нравственный приговор тому же Ивану Грозному, но, изучая историю его времени, необходимо все же видеть в ней одно из (и не столь уж чудовищное на фоне деяний его западноевропейских современников) проявлений всемирного зла, а не нечто исключительное, «чрезвычайное» и – что особенно возмутительно! – присущее именно и *только русской истории*.

Как ни прискорбно, в большинстве сочинений об отечественной истории, созданных и в прошлом, и в наше время, господствует тот заостренный моралистический «критицизм», о котором шла речь выше. Лев Толстой был совершенно прав в своей резкой характеристике «Истории России с древнейших времен» С. М. Соловьева, но то же самое и с еще большими

²⁷ Урланис Б. Ц. войны и народонаселение Европы. – М., 1960, с. 239.

²⁸ Солженицын А. И. архипелаг ГУЛАГ. – М., 1989, т. 1, с. 99.

основаниями следует сказать о множестве сочинений о русской истории, изданных после 1917 года.

Моя книга опирается в основном на известные очень узкому кругу людей работы русских историков, изданные в последние десятилетия, – работы, которые в той или иной степени «объективны». С ними я неразрывно связываю и осмысление судьбы русского искусства слова.

Это тем более необходимо, что за последние десятилетия изучение истории искусства слова почти полностью игнорирует, как бы даже не замечает работы многочисленных современных историков и археологов, заслуживающие самого пристального внимания.

Известный историк Руси В. Т. Пашуто (1921–1983) писал в 1982 году, стремясь открыть литераторам глаза на тот факт, что от них как-то «ускользнул *гигантский сдвиг*, который произошел в исторической науке за последнюю четверть века (то есть с середины 1950-х годов – В. К.), а сохранились в памяти со школьных лет лишь недостатки, рожденные историческим волюнтаризмом...»²⁹

В том же году вышла (посмертно) книга виднейшего археолога П. Н. Третьякова (1909–1976), который обоснованно утверждал, что археологическое исследование Древней Руси «решительным образом изменилось за последние 50 лет, особенно в 50–70-х гг. текущего столетия»³⁰.

И эти оценки, безусловно, разделит каждый беспристрастный наблюдатель, если познакомится со всем объемом сделанного в историографии и археологии Руси за 1950–1980-е годы.

Однако от подавляющего большинства историков русской литературы эти достижения в самом деле «ускользнули». Выразительным примером может служить в этом отношении дискуссия «фольклор и история», развернувшаяся в 1983–1985 годах на страницах журнала «Русская литература», – дискуссия, посвященная проблеме соотношения древнерусской истории и былинного эпоса. Она продолжалась три года, в ней приняли участие *тридцать* авторов, но за исключением одного из них – М. Б. Свердлов³¹ – никто, в сущности, не опирался на новейшие (конца 1950 – начала 1980-х годов) исследования историков Древней Руси, хотя, между прочим, в первой же, открывшей дискуссию, статье недвусмысленно утверждалось, что с начала 1960-х годов «исследование вопроса об историзме былин застывает на мертвой точке... В чем же причины наметившегося застоя? Главная из них, на наш взгляд, заключается в том, что новейшие исследователи былин придерживаются традиционного взгляда на ход исторического развития средневековой Руси... Однако наука не стоит на месте, и ныне мы не можем довольствоваться тем, что удовлетворяло нас 30–40 лет назад»³².

Совершенно верное, но, увы, почти не осуществляемое практически предложение. И речь идет, конечно, отнюдь не только об изучении исторических корней былинного эпоса: вся современная история русской литературы (за редкими исключениями), по сути дела, не имеет существенной связи с исторической наукой, достаточно плодотворно развивавшейся за последние десятилетия. Во избежание недоразумений отмечу, что я имею в виду изучение не одной только литературы Древней (X–XIII вв.) и Средневековой (XIV–XVII вв.) Руси, но историю отечественной литературы в целом, то есть до XX века включительно.

И дабы преодолеть тот «застой», о котором – на примере изучения древнего эпоса – говорили И. Я. Фроянов и Ю. И. Юдин, необходимо, так сказать, открыть границу между исследованиями истории русского Слова и исторической наукой. В свое время этой границы как бы вообще не существовало, ибо такие люди, как Ф. И. Буслаев, А. Н. Веселовский, Н. С. Тихонра-

²⁹ Пашуто В. Т. Литература и история: пути творческого содружества. – «Литературное обозрение», 1982, № 7, с. 13.

³⁰ Третьяков П. Н. По следам древних славянских племен. – Л., 1982, с. 5.

³¹ См.: Свердлов М. Б. Об историзме в изучении русского эпоса. – «русская литература», 1985, № 2, с. 78–90.

³² Фроянов И. Я., Юдин Ю. И. Об исторических основах русского былинного эпоса. – «русская литература», 1983, № 2, с. 91, 92.

вов, А. А. Шахматов, являли собой чуть ли не в равной мере и филологов и историков. Но всеобщая тяга к специализации, дифференциации знания привела в конце концов к отчуждению филологии и истории. Был бы, конечно, совершенно неосновательным призыв вообще отказаться от специализации, но так или иначе дальнейшее плодотворное изучение истории русского Слова, по моему убеждению, немислимо без восстановления теснейшей связи с современной исторической наукой.

Глава 2. О византийском и монгольском «наследствах» в судьбе Руси

Русь и «Царство ромеев»

Понимание и ценностное восприятие Византийской империи в русском самосознании допетровского времени и, с другой стороны, в идеологии XIX–XX вв. – очень существенно, даже принципиально расходятся. Говоря кратко и просто, до XVIII века Византия воспринималась на Руси – в общем и целом – в самом положительном духе, а в последующее время для наиболее влиятельных идеологов характерно негативное отношение к ней. Правда, в конце XIX – начале XX в. начинает складываться и противоположная тенденция (особенно ярко выразившаяся в течении *евразийства*), но она, в свою очередь, наталкивается на сильное сопротивление, и можно без преувеличения утверждать, что и сегодня очень широко распространена более или менее «отрицательная» оценка роли Византийской империи в истории России.

Тут мне почти наверняка возразят, что дело обстоит не совсем так, ибо общепризнано позитивное значение приятия Русью христианства от византийской Церкви. Однако, рассматривая проблему во всей ее многосторонности, мы убедимся, что она значительно более сложна и противоречива.

Во-первых, существует и в последнее время усиливается стремление переоценить уже и само по себе обращение к христианству, подавившему восточнославянские языческие верования, которые, по убеждению сторонников этого взгляда, воплощали в себе подлинно самобытные начала Руси.

С другой стороны, многие историки – и это не случайно – пытались и пытаются доказать, что русские в действительности восприняли христианство не из Византии, но либо из Болгарии (см., например, работы влиятельного в свое время историка М. Д. Приселкова), либо из Моравии (Н. К. Никольский), либо от норманнов-варягов (Е. Е. Голубинский); в последнее время была выдвинута еще особенная версия об ирландском происхождении русского христианства (наш современник А. Г. Кузьмин).

Наконец, очень многие из тех историков и идеологов, которые признают византийские истоки христианской Руси, вместе с тем стремились и стремятся утвердить представление о том, что древнерусская церковь – как и Древняя Русь в целом – с самого начала находилась будто бы в состоянии упорной борьбы с Византией за свою независимость, каковой, мол, постоянно угрожал Константинополь.

Так, великий деятель русской церкви и культуры XI века митрополит Киевский Иларион преподносится в качестве своего рода непримиримого борца с византийской церковью, и созданное Иларионом гениальное «Слово о законе и Благодати» с XIX века и до нашего времени пытаются толковать как якобы противовизантийское по своей основной цели и смыслу выступление.

Между тем подобное истолкование поистине нелепо; чтобы убедиться в этом, достаточно беспристрастно вдуматься хотя бы в следующее суждение митрополита Илариона – в его слова о «благоверьнии земли Гречьске, христороубиви же и сильно Верою, како единого Бога в Троице чтут и кланяются, како в них деются силы и чудеса и знамения, како църкви люди предъстоять и вси Богови простоять...» Или слова о Владимире Святославиче, который «принесьша крсть (крест) от Новаго Иерусалима – Константина града». Выдающийся историк М. Н. Тихомиров не без иронии заметил в свое время: «В таких словах нельзя было говорить против

Византии»³³. Но и до сего дня Илариона тщатся изобразить неким принципиальным врагом Византии и ее Церкви...

Все это не могло не иметь существенной причины. И дело здесь, как я буду стремиться доказать, в том, что, начиная со времени Петра I, Россия и вполне реально, практически устремилась на Запад, и в своем самосознании испытывала мощнейшее воздействие западной идеологии. А Запад издавна, – можно даже сказать извечно, – непримиримо противостоял Византии.

...В V веке «варварские» племена, создавшие впоследствии современную западноевропейскую цивилизацию и культуру, беспощадно разгромили ослабевший Рим. Словно предвидя эту участь великого города, римский император Константин I Великий еще в 20-е годы предыдущего, IV века перенес центр Империи на 1300 км к востоку, в древний греческий Византий, получивший затем имена «Новый Рим» и «Город Константина» (Константинополь). Этот город, в отличие от Рима, сумел отстоять себя в борьбе с «варварами», и Византия явилась единственной *прямой* наследницей античного мира и прожила свою богатую и сложную историю, длившуюся более тысячи ста лет.

Правда, в 1204 году – через восемь столетий после разгрома Рима – в «Новый Рим» вторглись далекие потомки тех самых варваров – крестоносцы. В основанной на многолетних разысканиях книге М. А. Заборова «Крестоносцы на Востоке» (1980) сообщается, в частности:

«В разрушительных оргиях погибли... замечательные произведения античных художников и скульпторов, сотни лет хранившиеся в Константинополе. Варвары-крестоносцы ничего не смыслили в искусстве. Они умели ценить только металл. Мрамор, дерево, кость, из которых были некогда сооружены архитектурные и скульптурные памятники, подвергались полному уничтожению. Впрочем, и металл получил у них своеобразную оценку. Для того, чтобы удобнее было определить стоимость добычи, крестоносцы превратили в слитки массу расхищенных ими художественных изделий из металла. Такая участь постигла, например, великолепную бронзовую статую богини Геры Самосской... Был сброшен с пьестала и разбит гигантский бронзовый Геркулес, творение гениального Лисиппа (придворного художника Александра Македонского)... Западных вандалов не остановили ни статуя волчицы, вскармливавшей Ромула и Рема... ни даже изваяние Девы Марии, находившееся в центре города... В 1204 г. западные варвары... уничтожили не только памятники искусства. В пепел были обращены богатейшие константинопольские книгохранилища... произведения древних философов и писателей, религиозные тексты, иллюминированные евангелия... Они жгли их запросто, как и все прочее... Византийская столица никогда уже не смогла оправиться от последствий нашествия латинских крестоносцев»³⁴.

Картина впечатляющая, но необходимо осознать, что едва ли сколько-нибудь уместны употребленные в этом тексте слова «варвары» и «вандалы»; к XIII веку западноевропейская средневековая культура была уже достаточно высоко развита, – ведь это время «Проторенессанса»; архитектура, церковная живопись и скульптура, прикладное искусство, письменность Западной Европы переживали период расцвета, – что показано, например, в классической работе О. А. Добиаш-Рождественской «Западное средневековое искусство» (1929).

Словом, поведение крестоносцев диктовалось не их чуждостью культуре вообще, но чуждостью и, более того, враждебностью по отношению именно к *Византии* и ее культуре, – потому и вели они себя примерно так же, как их действительно еще «варварские» предки, захватившие Рим в далеком V столетии...

Чтобы признать справедливость этого утверждения, достаточно, полагаю, познакомиться с «позицией» основоположника ренессансной культуры Запада – Франческо Петрарки. Через

³³ Тихомиров М. Н. русская культура X–XVIII вв. – М., 1968, с. 131.

³⁴ Заборов М. А. Крестоносцы на востоке. – М., 1980, с. 250–252.

полтора столетия после захвата Константинополя крестоносцами, в 1352 году, Византии в очередной раз нанесли тяжелейший ущерб генуэзские купцы-пираты (генуэзцы и венецианцы вообще сыграли главную роль в крушении Византии; турки в 1453 году захватили уже почти бессильный к тому времени Константинополь). И Петрарка (которого не заподозришь в недостатке культуры!) писал в своем послании «Дожу и Совету Генуи», что он «очень доволен» разгромом «лукавых малодушных гречишек» и хочет, «чтобы позорная их империя и гнездо заблуждений были выкорчеваны вашими (то есть генуэзскими. – В. К.) руками, если только Христос изберет вас отмстителями за Свое поношение и вам поручит возмездие, не к добру затянутое (даже так? – В. К.) всем католическим народом» (Ф. Петрарка. Книга о делах повседневных. XIV, 5. – Перевод В. В. Биbihина).

Но вернемся еще раз к «крестоносному» разгрому Константинополя в 1204 году. При мысли о нем естественно напрашивается чрезвычайно выразительное сопоставление. В 988 или 989 году, то есть еще за два столетия с лишним до нашествия крестоносцев, русский князь Владимир Святославич овладел главным византийским городом в Крыму – Херсонесом (порусски – Корсунью). Как и Константинополь, Херсонес был создан еще в древнегреческую эпоху и являл собой подобное же совокупное воплощение античной и собственно византийской культуры. До недавнего времени в историографии господствовало мнение, согласно которому русское войско, войдя в Херсонес, будто бы обошлось с городом так же, как крестоносцы с Константинополем, – разрушило и сожгло все до основания и дотла. Однако в новейших исследованиях вполне убедительно доказано, что никакого урона Херсонес тогда не претерпел (см. «Византийский Временник» на 1989 и 1990 гг., – то есть тома 50 и 51), – о чем свидетельствует, кстати, и русский летописный рассказ о взятии Корсуни. Правда, Владимир Святославич увез в Киев ценные трофеи; как сказано в летописи, «взя же ида, 2 капища медяны и 4 кони медяны, иже и ныне стоять за Святою Богородицею, якоже несведуще мнять я мрамаряны суща» («взял с собой, уходя, двух бронзовых идолов и четырех бронзовых коней, что и теперь стоят за церковью Святой Богородицы, и которых невежды считают мраморными»). Сама детальность рассказа убеждает, что в начале XII века (когда создавалась «Повесть временных лет») бронзовые фигуры людей и коней все еще красовались в центре Киева. И это отношение русских (еще в X веке!) к ценностям культуры Византии о многом говорит. Мне, правда, могут напомнить, что и фактический руководитель похода крестоносцев в 1204 году, венецианский дож Энрико Дандоло спас от уничтожения четверку бронзовых коней, изваянных тем же Лисиппом, и ее привезли из Константинополя в Венецию. Но это было все же *исключением* на фоне тотального уничтожения византийских культурных сокровищ... А поскольку, как уже отмечено, ровно никаких достоверных сведений о «варварском» поведении русских в Херсонесе нет, приходится сделать вывод, что версия о мнимом разорении этого византийского города в 988 (или 989) году сконструирована историками XIX века «по образцу» опустошения Константинополя в 1204 году... На деле отношение Запада и Руси к Византии было принципиально различным.

Здесь невозможно охарактеризовать всю многовековую историю взаимоотношений Руси и Византии, начиная с хождения в Константинополь первого (правившего на рубеже VIII–IX вв.) киевского князя Кия, который, по летописи, «велику честь приял» от византийского императора. Остановимся только на первом *военном* столкновении русских и византийцев. 18 июня 860 года войско Руси осадило Константинополь (сведения о более ранних подобных атаках недостоверны). Новейшие исследования показали, что этот поход был совершен под диктатом Хазарского каганата. Это неоспоримо явствует, в частности, из того факта, что в том же 860 году Византия отправила посольство во главе со святыми Кириллом и Мефодием *не в Киев*, а в тогдашнюю столицу Хазарского каганата – Семендер на Северном Кавказе (есть, правда, серьезные основания полагать, что на обратном пути это посольство посетило и Киев). Отмечу еще, что в одном из позднейших византийских сочинений предводитель похода на

Константинополь (это был, очевидно, киевский князь Аскольд) точно определен как «*воевода кагана*» (то есть властителя Хазарии).

Особенное, даже исключительное значение имеют для нас рассказы непосредственного свидетеля и прямого участника событий – одного из наиболее выдающихся деятелей Византии за всю ее историю, константинопольского патриарха св. Фотия (он, кстати сказать, называет русских «рабствующим» народом, – имея в виду, как полагают, тогдашнюю подчиненность Руси Хазарскому каганату; именно по его инициативе и было отправлено к хазарам посольство его великих учеников св. Кирилла и Мефодия).

Св. Фотий свидетельствовал, что в июне 860 года Константинополь «едва не был поднят на копье», что русским «легко было взять его, а жителям невозможно защищать», что «спасение города находилось в руках врагов и сохранение его зависело от их великодушия... город не взят по их милости» и т. п. Фотия даже уязвило, как он отметил, «бесславию от этого великодушия». Но так или иначе 23 июня жители Константинополя неожиданно «увидели врагов... удаляющимися, и город, которому угрожало расхищение, избавившимся от разорения».

Впоследствии, в XI веке, византийские хронисты, не желая, по всей вероятности, признавать это русское «великодушие», выдумали, что будто бы буря по божественной воле разметала атакующий флот (эта выдумка была воспринята и нашей летописью). Между тем *очевидец* событий Фотий недвусмысленно сообщает, что во время нашествия русских «море тихо и безмятежно расстилало хребет свой, доставляя им приятное и вожделенное плавание».

Позже патриарх Фотий писал, что «россы» восприняли «чистую и неподдельную Веру Христианскую, с любовью поставив себя в чине подданных и друзей, вместо грабления нас и великой против нас дерзости, которую имели незадолго»³⁵.

Правда, это свершившееся в 860-х годах приобщение русских христианству не было широким и прочным; действительное Крещение Руси совершилось только через столетие с лишним. Но речь сейчас идет о другом – о том, что можно назвать «архетипом», изначальным прообразом отношения Руси к Византии. Нелегко или даже невозможно дать вполне определенный ответ на вопрос, почему в 860 году русские, уже почти захватив Константинополь, по своей воле сняли осаду и вскоре – пусть пока в лице немногих – обратились к религии византийцев. Но во всяком случае ясно, что в IX веке русские вели себя в отношении Второго Рима совершенно иначе, чем западные народы в V веке в отношении Первого и в XIII – Второго Рима.

Могут напомнить, что после 860 года Русь не раз вступала в военные конфликты с Византией (походы Олега и Игоря, затем Святослава и, наконец, в 1043 году – Владимира, сына Ярослава Мудрого); однако новейшие исследования доказали, что каждый раз дело обстояло гораздо сложнее, чем это представлялось до недавнего времени (так, и Святослав, и Владимир Ярославич отправлялись в свои походы по приглашению определенных сил самой Византии). В дальнейшем еще будет идти речь об этих многообразных исторических ситуациях и их истинном значении.

Вернемся к теме «Византия и Запад». Наиболее существен именно тот факт, что Запад воспринимал и поныне воспринимает иные – даже и самые высокоразвитые – цивилизации планеты только как не обладающие собственной безусловной ценностью «объекты» приложения своих сил. Это присуще мироощущению и «среднего» человека Запада, и крупнейших его мыслителей. Так, в 1820-х годах Гегель в своей «Философии истории» утверждал, что, мол, «самим Провидением» именно и только на Запад «возложена задача... свободно творить в мире, исходя из субъективного самосознания», и что-де в тех случаях, когда «западный мир устремлялся в иные страны в Крестовых походах, при открытии и завоевании Америки... он не соприкасался с предшествовавшим ему всемирно-историческим народом» (то есть народами,

³⁵ Из произведений патриарха Фотия. – в кн.: Материалы по истории СССР. вып. 1. – М., 1985, с. 267–270.

имеющими «самоценное» значение в истории мира) – и потому имел полное право «творить» все по-своему во всех «иных странах», – в частности, в Византии (тут же Гегель без каких-либо доказательств заявил, что «история высокообразованной Восточной римской империи... представляет нам тысячелетний ряд беспрестанных преступлений, слабостей, низостей и проявлений бесхарактерности, ужаснейшую и потому всего менее интересную картину»³⁶; естественно, что разбой крестоносцев получает при этом полное оправдание...).

Вместе с тем, несомненно, что лишь благодаря этому своему геополитическому «эгоцентризму» и «эгоизму» Запад смог сыграть грандиозную роль на планете. И было бы заведомо неправильным воспринимать его роль в мировой истории только критически, только «отрицательно». Уже само по себе стремление «свободно творить в мире, исходя из субъективного самосознания», – беря таким образом на себя всю полноту ответственности, – являет подлинно героическую суть Запада. С этой точки зрения Запад в самом деле не имеет себе равных, и его последовательное овладение всей планетой, – до самых дальних континентов и даже затерянных в Мировом океане островков, – одно из ярчайших выражений человеческого *героизма* вообще. Необходимо только сознавать, что понятие «героическое», которое безоговорочно покоряет души юношей, вовсе не сводится к «положительному» содержанию и отнюдь не совпадает с критериями нравственности. Для «объектов» героического деяния оно вполне может предстать как нечто крайне негативное.

Еще более важно понять, что, вполне обоснованно восхищаясь героикой Запада, ни в коем случае не следует разделять его восприятие и оценку остального мира, иных цивилизаций и культур. В высшей степени прискорбно, что в русском самосознании Запад слишком часто и прочно предстал и предстает в качестве непререкаемой, даже единственной «меры вещей».

Западное непризнание всемирно-исторической ценности всего «другого», «иного», чем он сам, с особенной ясностью выступает в отношении Византийской империи. Даже такой, казалось бы, широкий и терпимый (в сравнении, например, с французскими просветителями, говорившими о Византии в жанре грубой брани) западный идеолог, как Гердер, писал в своем фундаментальном трактате «Идеи к философии истории человечества» (1782–1788), что Византия предстает-де в качестве «двуглавого чудовища, которое именовалось духовной и светской властью, дразнило и подавляло другие народы и... едва может отдать себе спокойный отчет в том, для чего нужны людям религия и для чего правительство... Отсюда пошли все пороки, все жестокости омерзительной (даже так! – В. К.) византийской истории...»³⁷

Мне могут возразить, что такое отрицание чуть ли не самого права на существование Византии имело место два столетия назад, а ныне Запад понимает дело иначе, ибо в его идеологии в XX веке начало утверждаться представление о равноправности или даже равноценности различных цивилизаций и культур. Это вроде бы действительно так: во-первых, в новейшее время на Западе было создано немало более или менее объективных исследований истории Византии (и других «незападных» государств), а во-вторых, западная историософия в лице Шпенглера и Тойнби так или иначе провозгласила равенство цивилизаций (здесь стоит напомнить, что в России это было осуществлено еще в XIX веке – в историософии Н. Я. Данилевского и К. Н. Леонтьева).

Да, казалось бы, крупнейший представитель английской историософии Арнольд Тойнби (1889–1975) уже в 1920–1930-х годах искупил грех западной идеологии, утвердив представление о десятках вполне «суверенных» и равно достойных внимания цивилизаций, существовавших и существующих на Земле, и в том числе православных – византийской, а затем российской. Однако, при обращении к конкретным рассуждениям Тойнби о Византии мы сталкиваемся с поистине поразительными противоречиями. С одной стороны, британский мысли-

³⁶ Гегель. Сочинения. том VIII. – М., 1935, с. 323, 318 (далее – по этому же изданию).

³⁷ Гердер Иоганн Готфрид. Идеи к философии истории человечества. – М., 1977, с. 499 (далее – по этому же изданию).

тель утверждает, что «первоначально у православия были более многообещающие перспективы, чем у Запада» и что Византия вообще «опередила западное христианство на семь или восемь столетий, ибо ни одно государство на Западе не могло сравниться с Восточной Римской империей вплоть до XV–XVI вв.» (это, в сущности, простая констатация фактов, изученных западными историками Византии в течение XIX – начала XX в.).

И тем не менее столь «лестные» для Византии суждения тут же по сути дела полностью опровергаются. После первой из процитированных фраз Тойнби заявляет, что «византийские императоры неустанно искажали и уродовали свое истинное наследие», а в связи со второй фразой выражает решительное недовольство по тому поводу, что уже в VIII веке византийский император Лев III «смог повернуть православно-христианскую историю на совершенно незападный путь»³⁸.

Здесь важно заметить, что, рассуждая о ряде других цивилизаций, Тойнби не попрекает их за их явно «незападный» путь. Но о Византии он неожиданно (ведь именно он последовательнее, чем какой-либо другой представитель западной историософии, провозгласил равенство всех самостоятельных цивилизаций!) начинает говорить точно так же, как те идеологи, для которых Запад – это, в сущности, как бы единственная имеющая безусловное право на существование цивилизация. И в заключение параграфа «Восточная Римская империя...» Тойнби без обиняков клеймит, по его словам, «извращенную и греховную природу» этой империи.

Объясняется все это достаточно просто. Византия была единственно прямой *соперницей* Запада. Это совершенно наглядно отразилось в том, что в X веке (точно – в 962 году) на Западе была провозглашена «Священная Римская империя» (то есть как бы другой «Новый Рим»), надолго ставшая основой всего западного устройства. И впоследствии Запад (как мы еще увидим) стремился отнять у своей восточной соперницы даже и само это имя «Римская»...

При этом соперничество складывалось сначала явно не в пользу Запада. Тойнби в приведенном выше высказывании напомнил, что «вплоть до XV–XVI вв.» Византия «опережала» Запад... Немаловажно заметить, что Тойнби, который в общетеоретическом плане так или иначе отказывается от прямолинейного понятия «прогресс», не смог в данном случае преодолеть западный соблазн; ведь в глубоком смысле Византия не «опережала» кого-либо, а развертывала свое самостоятельное, своеобразное культурное творчество, мерить которое по шкале «прогресса» – занятие, прямо скажем, примитивное (вот выразительный пример: Франческо Петрарка и преподобный Сергей Радонежский были современниками, но решать, кто кого из них «опережал» – дело не только неблагодарное, но и просто нелепое, – хотя сопоставление этих двух личностей может многое прояснить).

Впрочем, Тойнби говорит и о своеобразии Византии, – правда, тут же толкуя, его в сущности, как «безобразие». Он сопоставляет Запад и Византию в следующем рассуждении: «История отношений между церковью и государством указывает на самое большое и самое серьезное расхождение между католическим Западом и православным Востоком»; на Западе эти отношения сложились в виде «системы подчинения множества местных государств единой вселенской церкви» (пребывающей в Риме). Между тем в Византии имело место слияние церкви и государства, – слияние, которое Тойнби едва ли адекватно определил как «подчинение церкви государству», ибо для истории Византии не менее характерно и обратное – подчинение государства церкви.

Тойнби стремится представить империю, в которой былоде установлено безоговорочное «подчинение церкви государству», как заведомо деспотическую, всецело основанную на голом насилии. В его рассуждениях о Византии постоянно говорится о «жестком контроле», «нешадном подавлении», «государственных репрессиях», даже «свирепости» и т. п. Однако,

³⁸ Тойнби А. Дж. Постигание истории. – М., 1991, с. 317 (далее – по этому же изданию).

поскольку ко времени создания его историософии западные исследователи более или менее объективно осветили фактическую, реальную историю Византии, Тойнби, явно противореча своим собственным общим оценкам, говорит, например, что в Византии «использование политической власти в религиозных целях было, следует отметить, весьма тактичным по сравнению с кровопролитными религиозными войнами, которые вел Карл Великий в аналогичной ситуации». В отличие от Византии, констатирует также Тойнби, «западное христианство... прибрало к рукам... все европейские земли... вплоть до Эльбы». К тому же, пишет он, «на Западе безоговорочно считали, что латынь является единственным и всеобщим языком литургии... Разительным контрастом этой латинской тирании выглядит удивительный либерализм православных. Они не предприняли ни одной попытки придать греческому языку статус монопольного» (в связи с этим стоит вспомнить, что в IX веке св. Кирилл и Мефодий создали славянскую письменность, а в XIV веке – как бы продолжая их дело – русский святой Стефан Пермский создал зырянскую, т. е. коми).

Итак, существуют два совершенно различных «представления» о Византии, одно из которых – всецело тенденциозная западная идеологема, мрачный и нередко даже зловещий миф о Византии, а другое – так или иначе просвечивающая сквозь этот миф реальность византийской истории.

Исходя из фактов, Тойнби пишет, например, что «восточно-римское правительство традиционно отличалось умеренностью». Но он же, подвергая резкой критике византийское монашество за недостаточную «активность», противопоставляет ему в качестве своего рода идеала западноевропейское монашество: «Франциск и Доминик вывели монахов из сельских монастырей в широкий мир... Напрасно мы будем искать какую-либо параллель этому движению в православии».

Но ведь это «выведение» западного монашества в «широкий мир» выразилось «ярче» всего в создании доминиканцами (и, отчасти, францисканцами) «святой инквизиции», которая отправляла на пытки и казни сотни тысяч «еретиков»! А в истории Византии действительно не было «какой-либо параллели» этому явлению.

Не менее характерна и судьба иудеев на Западе и, с другой стороны, в Византии. В западноевропейских странах в XII–XVI веках было уничтожено, согласно сведениям «Еврейской энциклопедии», примерно 400 тысяч приверженцев иудаизма – то есть 40 процентов тогдашнего мирового иудейства... А многие из уцелевших нашли убежище в Византии, где – несмотря на все конфликты христиан и иудеев, – ничего подобного западноевропейскому «геноциду» все же не произошло.

Речь идет, разумеется, отнюдь не о том, что Византия являла собой совершенство. Но безусловно необходимо преодолеть навязанное западной идеологией представление о Византийской империи как о некоем «уродстве». Ведь даже обладающий репутацией апологета равноценности цивилизаций Тойнби постоянно употребляет по отношению к Византии такие «термины», как «уродование», «искажение», «дисгармония», «извращение» и т. п. Ясно, что в качестве якобы беспристрастного «критерия» берется здесь цивилизация и культура Запада.

И в самом деле: Тойнби с какой-то даже наивной откровенностью утверждает, что единственным «спасением» для Византии было бы превращение ее в прямое подобие Запада. Он пишет, например, что в Византии «в VII в. появились некоторые признаки... возвращения на путь, избранный для Запада папой Григорием Великим (590–604)». Однако «развитие вселенского патриарха в духе папства» все же не свершилось, и в результате, мол, «православное христианство выглядело болезненно дисгармоничным, что было платой за выбор неверного пути». Вполне понятно, что на «неверном пути» нельзя было достичь никаких действительно ценных результатов.

В 1984–1991 годах в Москве вышел в свет фундаментальный (объемом около 180 авт. листов) трехтомный труд «Культура Византии», созданный первоклассными современными

специалистами России. Со всей доказательностью раскрывается здесь богатейшее, – чрезвычайно многообразное и глубоко самобытное – культурное творчество, совершавшееся в продолжение более чем тысячелетия в Византии. Но проштудировали этот труд немногие, и в сознании большинства из тех, кто так или иначе касается проблемы «византийского наследства», по-прежнему господствует заведомо ложное и по самой своей сути негативное «мнение» об этом наследстве, – мнение, в конечном счете восходящее к идеологам Запада. Очень характерно, что в России – под воздействием западноевропейских представлений – принято относить Византию к «Востоку», хотя Константинополь расположен западнее Киева и, тем более, Москвы...

Еще раз повторю, что нельзя, да и ни к чему «идеализировать» Византию (хотя такая тенденция – правда, весьма узкая – имела место в русской мысли) и усматривать в ее истории – в противовес идеологам Запада – «превосходство» над западной цивилизацией и культурой. Речь может и должна идти только об имеющем полное право на существование своеобразии.

Если на Западе с давних времен средоточие церкви существовало (о чем говорит, в частности, Тойнби) само по себе, «отдельно», – как специфическое теократическое государство (*Stato Pontificio*, – т. е. Государство Первосвященника, в Папской области, возникшей еще в VIII веке), то в Византии так или иначе сложилось единство церкви и государства. Византийскую империю вполне уместно поэтому определить как *идеократическое* (имея в виду власть православных идей) государство; между тем Западу присуще то, что следует определить термином *номократия* – власть закона (от греч. *nomos* – закон); с этой точки зрения азиатские общества уместно определить термином «*этократия*» – от греч. *etos* – обычай.

И именно об этом неприязненно и саркастически писал Гердер. В Византии, согласно его по-своему достаточно метким характеристикам, христианская идея «сбила с толку ум человеческий («ум», конечно, понимается в чисто западном смысле. – В. К.) – вместо того чтобы жить на земле, люди учились ходить по воздуху... долг людей по отношению к государству путали с чистыми отношениями людей к Богу и, сами не ведая того, положили в основу Византийской христианской империи... религию монахов, – как же могли не утратиться верные соотношения... между обязанностями и правами, наконец, даже и между сословиями государства?... Здесь, конечно, произносили речи боговдохновенные мужи патриархи, епископы, священники, но к кому они обращали свои речи, о чем говорили?... Перед безумной, испорченной, несдержанной толпой должны были изъяснять они Царство Божие... О как жалею я тебя, о Златоуст, о Хризостом!...»³⁹ (великий деятель византийской церкви IV–V вв. Иоанн Златоуст).

Все это, повторю, по-своему метко и даже – не побоюсь сказать – верно. И западные государства, цель которых в конечном счете сводилась к установлению строго упорядоченных соотношений «между правами и обязанностями» и «между сословиями», к четкому утверждению «долга людей по отношению к государству» и т. п., предстают, в сравнении с Византией, действительно как нечто принципиально более «рациональное», всецело направленное на устройство реальной, земной человеческой жизни.

И нельзя не видеть, что большинство русских идеологов (да и вообще русских людей) XIX–XX веков относилось к «благоустроенности» западной цивилизации с глубоким уважением или даже преклонением и, более того, острой завистью. Правда, в России не столь уж редко раздавались голоса, обличавшие «бездуховность» этой цивилизации, но можно со всей основательностью утверждать, что подобные нападки чаще всего порождало стремление противостоять господствующему в России безоговорочному пиетету перед Западом.

Между тем в западной идеологии не только царило принципиально негативное восприятие Византии (и – о чем еще пойдет речь – ее наследницы России), но и, как мы видели, отрицалось, по сути дела, само ее право на существование. И поглощение Византии в XV веке

³⁹ Цит. Изд., с. 499.

Османской империей Запад воспринимал как совершенно естественный итог. Гердер говорил даже об «удивлении», вызываемом у него тем фактом, что «империя, так устроенная, не пала еще гораздо раньше» (ту же точку зрения отстаивал через полтора столетия и Тойнби, утверждая, что Византия была «тяжелобольным обществом... задолго до того, как на исторической сцене появились турки», – то есть задолго до XI века!).

Как уже сказано, фактическая, реальная история Византии подчас все же заставляла Гердера и других западных идеологов впадать в прямое противоречие с утверждаемым ими мифом о ней. Так, например, Гердер, для своего времени неплохо знавший византийскую историю, признавал, что главную роль в падении Константинополя сыграли чрезвычайно динамичные и мощные *западные силы* – Венецианская (она, кстати, нанесла Византии наибольший урон еще во время крестовых походов) и Генуэзская республики; их атаки и грабеж (Гердер даже назвал его «позорным») продолжались в течение нескольких веков, и (цитирую Гердера) «империя была в итоге так ослаблена, что Константинополь без труда достался турецким ордам» (вспомним, что еще Петрарка столетием ранее призывал генуэзцев и вообще Запад поскорее «выкорчевать» Византию...).

Короче говоря, Византийская империя прекратила существование не в силу некоей своей внутренней, имманентной несостоятельности; она была раздавлена между беспощадными жерновами Запада и Востока: такому двустороннему давлению едва ли бы смогло противостоять какое-либо государство вообще...

Предпринятое мною своего рода оправдание Византийской империи продиктовано стремлением «противустать» отнюдь не цивилизации и культуре Запада, имеющим свою великую самобытную ценность, но навязываемой западными идеологами тенденциозной дискредитации Византии, – дискредитации, объясняемой тем, что эта сыгравшая громадную роль в истории, – в том числе и в истории самой Западной Европы! – цивилизация шла по принципиально «незападному» пути.

Кстати сказать, тот факт, что Византия сыграла грандиозную и необходимую роль в развитии *самого Запада*, не могут полностью игнорировать никакие ее критики. Так, по словам того же Гердера, «благодаря ей для всего образованного мира было то, что греческий язык и литература так долго сохранялись в Византийской империи, пока Западная Европа не созрела для того, чтобы принять их из рук константинопольских беженцев», и даже «венецианцы и генуэзцы научились в Константинополе вести более крупную торговлю... и оттуда перенесли в Европу множество полезных вещей».

Впрочем, и признавая «заслуги» Византии в развитии Запада и мира в целом (эти заслуги, конечно, не сводятся к указанным Гердером фактам), западные идеологи тем не менее всегда были готовы объявить ее тысячелетнюю историю в целом «уродливой» и бесперспективной.

И это западное неприятие Византии основывалось не только на том, что она была идеократическим государством; Запад отталкивала и *евразийская* суть Византийской империи. Ибо даже самые «гуманистические» идеологи не были свободны от своего рода «западного расизма». Вот выразительный пример. В 1362–1368 годах Петрарка жил в Венеции, куда пираты-купцы свозили тогда из Причерноморья множество рабов; это были, как нам известно, люди, принадлежавшие к различным народам Кавказа, половцы и – в меньшей мере – русские. Многие из этих людей (что также хорошо известно) были христианами. Но Петрарка, чей гуманизм простирался только на народы Запада (он ведь и самих греков именовал «малодушными гречишками»), писал об этих людях как о неких полуживотных: «Диковинного вида толпа мужчин и женщин наводнила скифскими мордами прекрасный город...» (Венецию). И

выражал свое настоящее пожелание, чтобы «не наполнял бы мерзкий народ узкие улицы... а в своей Скифии... по сей день рвал бы ногтями и зубами скудные травы»⁴⁰.

В Византии же никто не усматривал в людях, принадлежавших к народам Азии и Восточной Европы, «недочеловеков», и, в частности, любой человек, исповедующий христианство, мог занять в Империи любой пост и достичь высшего признания: так, император Лев III Великий (VIII век) был сирийцем, Роман I Лакапин (X век) – армянином, а патриарх Константинопольский Филофей (XIV век) – евреем.

Между тем тот же прославленный западный гуманист Петрарка отказывал в высшем «благородстве» даже и самим грекам, утверждая, в частности, что-де «никакой самый наглый и бесстыжий грек не посмеет сказать ничего подобного», а «если кто такое скажет, пусть уж говорит заодно, что благородней быть рабом, чем господином»...

Гердер, живший через четыре столетия после Петрарки, не был склонен к такому неприкрытому «расизму», но, рассуждая об «омерзительной византийской истории», он все же счел необходимым сказать, что в основу этой истории легла «та злосчастная путаница, которая бросила в один кипящий котел... и варваров, и римлян» (византийские греки называли себя «ромеями», то есть римлянами). Таким образом, и для западного идеолога XVIII века был неприемлем многоплеменный *евразийский* «котел» Византии...

Россия – единственное из государств – в сущности унаследовала евразийскую природу Византии. Характерно в этом отношении «крылатое» слово, приписываемое двум совершенно разным (это важно отметить, ибо, значит, мы имеем дело с западной ментальностью вообще) европейцам – Наполеону и его непримиримому противнику графу Жозефу де Местру: «Поскоблите русского и вы найдете татарина». Отсюда уже не так далеко до нацистской концепции «неарийства» русских.

Не могу не сказать в связи с этим, что меня ни в коей мере, абсолютно не волнует проблема расовой и этнической «чистоты» русских людей, ибо тезис об особой ценности этой самой чистоты не имеет никакого реального обоснования; это только один из характерных западных мифов. Едва ли уместны, например, сомнения в высшем человеческом совершенстве Пушкина, а между тем, если обратиться к третьему (прадедовскому) поколению его предков, то пятеро из восьми его прадедов и прабабок, возможно, были «чисто русского» – или, шире, славянского – происхождения (хотя и в них не исключена столь характерная для России «примесь» тюркской или финской «крови»): Александр Петрович Пушкин (дед отца поэта), его племянник – Алексей Федорович Пушкин (дед матери поэта, Надежды Осиповны Ганнибал), Евдокия Ивановна Головина, Лукерья Васильевна Приклонская и Сарра Юрьевна Ржевская. Однако остальными предками Пушкина в этом поколении были эфиоп Абрам Ганнибал, немка Христина-Регина фон Шеберг и имеющий тюркское (по гораздо менее достоверной версии – итальянское) происхождение Василий Иванович Чичерин.

Кстати сказать, есть все основания утверждать, что в далекие – «доисторические» – времена и население самой Западной Европы представляло собой именно «кипящий котел», в котором сваривались воедино самые разные этносы и расы; своеобразие Византии (и, позднее, России) состояло лишь в том, что они являли собой такие «котлы» в уже *историческое* время, на глазах уже сформировавшейся цивилизации Запада, которая неодобрительно или просто с презрением взирала на эту евразийскую «путаницу» (по слову Гердера).

Подводя итог рассмотрению проблемы «Запад и Византия», обращу внимание на, казалось бы, «формальное», но, если вдуматься, чрезвычайно многозначительное явление: уже само название «Византия» было (о чем ныне знают немногие) присвоено Западом государству, называвшему себя «Империей ромеев» (то есть римлян), в качестве по сути дела принижающего *прозвища* (исходящего из древнего названия Константинополя). С. С. Аверинцев пишет

⁴⁰ Петрарка Франческо. Лирика. автобиографическая проза. – М., 1989, с. 322.

об этом так: «Примерно через сто лет после ее (империи ромеев. – В. К.) гибели западноевропейские эрудиты, не жаловавшие ее, прозвали ее Византийской; ученая кличка... вошла в обиход, время от времени возвращая себе статус *бранного слова* (например, в либеральной публицистике прошлого века)»⁴¹.

Нет смысла призывать к отказу от давно и прочно утвердившегося названия, но поистине необходимо освободить его от того негативного заряда, который был внедрен в это название – и особенно в производные от него термины «византизм» (или «византинизм») и «византийство» – западными, а по их примеру и российскими либеральными идеологами. Еще в 1875 году К. Н. Леонтьев писал в своем трактате «Византизм и славянство»: «В нашей образованной публике распространены о Византии самые превратные, или, лучше сказать, самые вздорные, односторонние или поверхностные понятия... Византия представляется чем-то (скажем просто, как говорится иногда в словесных беседах) сухим, скучным, поповским, и не только скучным, но даже чем-то жалким и подлым». Между тем, говорил далее Леонтьев, даже и малого, но *действительного* ознакомления с наследием империи «достаточно, чтобы убедиться, сколько в византизме было искренности, теплоты, геройства и поэзии»⁴².

Как раз тогда, когда Леонтьев писал эти строки, достигли своей научной зрелости выдающиеся творцы русского византиноведения – академики В. Г. Васильевский (1838–1899), Ф. И. Успенский (1845–1928) и Н. П. Кондаков (1844–1923), труды которых подтверждали полную правоту Леонтьева. Но мало кто из российских идеологов изучил или хотя бы имел желание изучить эти труды. И слова «византизм» и «византийство» по-прежнему имели в их устах, по сути дела, «бренный» смысл...

Но вот иной факт. 12 апреля 1918 года в петроградской эсеровской газете «Воля народа» было опубликовано стихотворение Анны Ахматовой, говорящее о трагическом крушении прежней России в таких словах:

Когда в тоске самоубийства
Народ гостей немецких ждал,
И дух суровый византийства
От Русской Церкви отлетал,
Когда приневская столица,
Забыв величие свое,
Как опьяневшая блудница
Не знала, кто берет ее...—
и т. д.

Это звучало явным диссонансом по отношению к «общепринятому» в интеллигентских кругах (кстати сказать, после 1918 года эти строки были снова опубликованы в России лишь в 1990 году); можно предположить, что уважение к «духу византийства» поэтесса восприняла от своего отца А. А. Горенко (1848–1915), действительного члена Русского собрания – православно-монархической (в бранном словоупотреблении – «черносотенной») организации, существовавшей с 1901 до февраля 1917 года.

Однако в наше время из журнала «Вопросы философии» читатели могут «узнать», что Ахматову и других давил-де «сталинский византизм» (1989, № 9, с. 78). Едва ли русская поэтесса согласилась бы с подобным употреблением этого термина, хотя она и сказала о «суровости» духа византийства. Дело в том, что действительно суровые проповеди св. Иоанна Крон-

⁴¹ Аверинцев С. С. Византия и Русь: два типа духовности. – «Новый мир», 1988, № 7, с. 214.

⁴² Леонтьев Константин. Записки отшельника. – М., 1992, с. 29, 32, 33.

штадтского и, скажем, «Злые заметки» Бухарина о Есенине или страницы доклада Жданова, «обличавшие» Ахматову, – это вещи не просто различные, но несовместимые...

Нельзя исключить, что св. Иоанн Кронштадтский мог бы осудить те или иные мотивы ахматовской поэзии (как в свое время осудил – в стихотворной форме – пушкинское «Дар напрасный, дар случайный...» митрополит Московский Филарет); но это был бы суд не во имя интересов власти, а совсем иной, подобный тому суду, правомерность которого явно признавала в своем стихотворении 1913 года сама Ахматова:

...И осуждающие взоры
Спокойных загорелых баб.

Россия, подобно Византии, сложилась и как *евразийское*, и как *идеократическое* государство. В евразийстве Руси-России нередко видят следствие недолгого пребывания в составе Монгольской империи. Однако в действительности эта пора была закреплением и углублением уже давно присущего Руси качества.

862 годом (на самом деле событие, по-видимому, произошло несколько раньше) помечено в летописи известие о создании *государственности* Руси, и в этом акте, согласно летописи, вместе со славянами равноправно участвуют «уральские» (финно-угорские) племена («Реша... – сообщает летопись, – *чудь*, словене, и кривичи, и весь...»). В X веке в походах князя Игоря принимают участие и европейцы-скандинавы, и азиаты-печенеги, а среди высших лиц Русского государства XI века представлены и те же скандинавы, и люди из различных тюркских и финно-угорских племен и т. д.

Да, еще задолго до монгольского нашествия существует и постоянно возрастает «азиатский компонент» русской истории. Это, в частности, ясно выразилось в династических браках, имевших прямое и непосредственное *государственное* значение. Если сыновья Ярослава Мудрого обручаются с невестами из династий Запада (Франции, Германии, Дании, Норвегии и т. д.), а также Византии, то по меньшей мере трое из девяти сыновей Ярославова внука (и, вместе с тем, внука византийского императора Константина VIII) Владимира Мономаха породнились (в начале XII века) с восточными династиями – половецкими и ясской (осетинской), и с тех пор это стало на Руси прочной традицией.

Правда, глубокий смысл заключен не в самих по себе подобных брачных союзах; они – только одно из наглядных проявлений русского «евразийства». Примитивно и в конечном счете просто ложно представление, согласно которому это евразийство толкуется прежде всего и главным образом как *взаимодействие* русского и, скажем, тюркских народов. Если сказать о сути дела со всей определенностью, русские – эти наследники византийских греков – как бы изначально, по самому своему определению были евразийским народом, способным вступить в органические взаимоотношения и с европейскими, и с азиатскими этносами, которые – если они действительно включались в магнитное поле Руси-России – и сами обретали евразийские черты. Между тем в случае их *выхода* из этого поля они опять должны были в конечном счете стать «чисто» европейскими или «чисто» азиатскими народами; русские же не могут не быть народом именно евразийским.

Евразийская суть Руси ярко отразилась в летописном рассказе о том, как Владимир Святославич, не предвещая заранее итога, *избирал* одну веру из четырех – западного и византийского христианства и, с другой стороны, азиатских мусульманства и иудаизма (выбор – что было вполне закономерно – пал на религию «евразийской» Византии). Притом, в данном случае не столь уж важно, имеем ли мы дело с *легендой* или же с сообщением о *реально* состоявшемся выборе; действительно существенно то, что летописец, воплощавший так или иначе в своем рассказе представления русских людей XI – начала XII в., не усматривал ничего противоестественного в подобном акте, явно подразумевающим, что западные и восточные религии

равноправны (хотя избрание именно византийской веры было, повторяю, закономерным итогом). И если не забывать о верховном и всестороннем значении религии в бытии тогдашних обществ, станет ясно, что это восприятие верований Европы и Азии как равно достойных внимания имеет чрезвычайно существенный смысл: «евразийская» природа русского духа выступает тут с наибольшей несомненностью.

Но не менее важно и характерно и другое: будучи воспринятым, христианство становится на Руси определяющим и всепроникающим стержнем бытия. Ведь невозможно, например, переоценить тот факт, что не позднее XIV века основная часть населения Руси обрела название – и самоназвание – *крестьяне* (вариант слова «христиане»). Более того, уже из памятника начала XII века явствует, что слово «христианин» («хръстиянинъ») имело, помимо обозначения принадлежности к определенной религии, смысл «житель Русской земли» (см.: И. И. Срезневский. «Материалы для Словаря древнерусского языка», т. III, стр. 1410).

Естественно, и сам государственный строй Руси, подобно византийскому, представал как *идеократический*. Выше приводились иронические слова Гердера о Византии, где «вместо того, чтобы жить на земле, люди учились ходить по воздуху» и т. д.

Следует всецело, безоговорочно признать эту «критику»: и в Византии, и, впоследствии, на Руси люди в самом деле не создали, да и никак не могли бы создать такое совершенное *земное* устройство, как на Западе. И русские идеологи, как уже отмечалось, остро, подчас даже мучительно осознавали «неблагоустроенность» (в самом широком смысле – от установлений государства до домашнего быта) России. Именно это осознание породило сыгравшее огромную роль крайне резкое «Философическое письмо» Чаадаева, опубликованное в 1836 году. Глубоко изучив западное бытие (он объехал в течение трех лет – в 1823–1826 годах – весь Запад от Англии до Италии), Чаадаев предпринял острейшее сопоставление двух цивилизаций, которое вызвало негодование людей «патриотического» склада и восхищение тех, кого несколько позднее назвали «западниками». Но обе реакции на чаадаевскую статью были, в сущности, всецело ложными.

Возражая «патриотам», Чаадаев писал в следующем, 1837 году, что появившаяся годом ранее «статья, так странно задевшая наше национальное тщеславие, должна была служить введением» – введением в большой труд, «который остался неоконченным... Без сомнения, была нетерпеливость в ее (статьи. – В. К.) выражениях, резкость в мыслях, но чувство, которым проникнут весь отрывок, нисколько не враждебно Отечеству»⁴³.

Однако это «пояснение» было опубликовано лишь в 1913 году (впрочем, и тогда почти никто в него не вдумывался), и «введение явилось, по сути дела, *единственным* источником общепринятых представлений о чаадаевской историософии России... В результате многие «патриоты» проклинали и проклинают доныне этого гениального философского сподвижника Пушкина, а «антипатриоты», с точки зрения которых единственно возможный путь для России – превращение ее в страну западного типа (пусть даже «второсортную»), считают Чаадаева своим славнейшим предшественником.

Между тем еще в 1835 году (то есть еще до опубликования «злополучной» – это определение самого мыслителя – «вводной» статьи) Чаадаев с полной определенностью писал (слова эти, увы, были опубликованы в России опять-таки только в 1913 году и также остаются неосмысленными): «...Мы не Запад... Россия... не имеет привязанностей, страстей, идей и интересов Европы... И не говорите, что мы молоды, что мы отстали от других народов, что мы нагоним их (именно такое представление лежит в основе заведомо утопического российского западничества! – В. К.). Нет, мы столь же мало представляем собой XVI или XV век Европы, сколь и XIX век. Возьмите любую эпоху в истории западных народов, сравните ее с тем, что представляем мы в 1835 году по Р. Х., и вы увидите, что у нас другое начало цивилизации,

⁴³ Чаадаев П. Я. Полное собрание сочинений и избранные письма. – М., 1991, т. 1, с. 533 (далее – по этому же изданию).

чем у этих народов... Поэтому нам незачем бежать за другими; нам следует откровенно оценить себя, понять, что мы такое, выйти из лжи и утвердиться в истине. Тогда мы пойдем вперед...» (т. 2, с. 96, 98).

Позднее, в 1846 году, Чаадаев вновь обратился к этой историческо-философской теме. И – как это ни неожиданно для всех, поверивших в «западничество» мыслителя! – сказал в письме к французскому публицисту Адольфу де Сиркуру о засилье «чужеземных идей» как о тяжком препятствии, которое необходимо преодолеть для плодотворного развития России. Он констатировал:

«Эта податливость чужим внушениям, эта готовность подчиняться идеям, навязанным извне... является... существенной чертой нашего нрава», – и тут же призывал: «этого не надо ни стыдиться, ни отрицать: надо стараться уяснить себе это наше свойство... путем непредубежденного и искреннего уразумения нашей истории». И далее совсем уж парадоксальный с точки зрения «западников» ход рассуждения. Принято считать, что «традиционный» дефицит свободы слова в России мешал прежде всего воспринимать «прогрессивные» идеи Запада. Чаадаев же, сам испытавший тяжкое давление российского «деспотизма», писал о как раз прямо противоположном прискорбном результате: «Можно ли ожидать, что при таком... социальном развитии, где с самого начала все направлено к порабощению личности и мысли, народный ум сумел свергнуть иго вашей (напомню: Чаадаев обращается к европейцу Сиркуру – В. К.) культуры, вашего просвещения и авторитета? Это немислимо. Час нашего освобождения, стало быть, еще далек... Мы будем истинно свободны от влияния чужеземных идей лишь с того дня, когда вполне уразумеем пройденный нами путь...» (т. 2, с. 188, 191, 192).

Чаадаев глубоко сознавал, что Россия, в отличие от стран Запада, держава *идеократическая* («великий народ, – писал Чаадаев, – образовавшийся всецело под влиянием религии Христа»); что же касается номенократии, то есть законовластия, Чаадаев недвусмысленно утверждал: «Идея законности, идея права для русского народа – *бессмыслица*» – притом последнее слово выделено им самим) и евразийская (чаадаевская мысль такова: «стихии *азиатские и европейские* переработаются в оригинальную Русскую цивилизацию»).

Впрочем, историческо-философское содержание сочинений Чаадаева очень богато и сложно; его анализ требует отдельного разговора. Здесь же я преследовал только одну цель: показать, насколько ложны господствующие представления об этом основоположнике новейшей (XIX–XX вв.) русской философской культуры.

Нельзя, Впрочем, не сказать еще о том, что Чаадаев – в отличие и от западников, и от славянофилов – стремился понять Россию не как нечто, говоря попросту, «худшее» или, напротив, «лучшее» по сравнению с Западом, но именно как самостоятельную цивилизацию, в которой есть и свое зло, и свое добро, своя ложь и своя истина. Он ни в коей мере не закрывал глаза на самые прискорбные «последствия» и российской идеократии, и российского евразийства, но он же написал в 1837 году: «...у меня есть глубокое убеждение, что мы призваны... завершить большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие вопросы, которые занимают человечество. Я часто говорил и охотно повторяю: мы, так сказать, самой природой вещей предназначены быть настоящим совестным судом по многим тяжбам, которые ведутся перед великими трибуналами человеческого духа и человеческого общества» (т. 1, с. 534).

Всего лишь через полвека наиболее проникательные западные наблюдатели, в сущности, именно так оценили великие свершения русской литературы (неразрывно связанные с наиболее глубокими исканиями русской мысли). И тут, вполне естественно, встает вопрос: если идеократическая и евразийская Россия была столь несовершенна в сравнении со странами Запада, каким образом она смогла создать духовные ценности всемирного значения? Ведь давно общепризнано, что *величайшие* эпохи в истории культуры – это классическая Греция, западноевропейское Возрождение и русский XIX век.

В этом отношении весьма показателен трактат современного представителя еврейско-иудаистской историософии, – американского раввина Макса Даймонта «Евреи, Бог и история» (1960). Россия вообще изображена здесь, надо прямо сказать, в крайне негативном свете. Хотя бы один характерный иронический тезис: «Пять Романовых правили Россией в 19 веке. Они ухитрились приостановить в России развитие просвещения и благополучно вернуть страну в лоно феодального деспотизма» и т. д. Именно поэтому, резюмирует Даймонд, «когда пять белых армий вторглись в советскую Россию, чтобы восстановить власть царя (едва ли цель белых армий была таковой. – В. К.), евреи вступили в Красную армию, созданную Львом Троцким».

Однако в этом же трактате читаем: «За пять тысяч лет своего существования мировая литература знала всего четыре великие литературные эпохи. Первой была эпоха книг пророков в библейские дни (это вполне понятно, а далее – две эпохи, названные выше – В. К.)... Наконец, четвертой была эпоха русского психологического (едва ли уместное «ограничение». – В. К.) романа 19 века. Всего за пятьдесят лет Пушкин, Гоголь, Тургенев, Достоевский и Толстой создали одну из величайших литератур мира»⁴⁴ (и это – несмотря на приостановку «развития просвещения» и «феодальный деспотизм»...).

Необходимо только уточнить, что для человека, действительно изучившего историю России и ее культуры, не подлежит никакому сомнению, что русская литература XIX столетия – естественный плод тысячелетнего развития, и ствол, на котором пышно разрослась в прошлом веке поразившая весь мир крона, существовал уже в X–XI веках, когда были созданы русский богатырский эпос, «Слово о законе и Благодати» митрополита Илариона, «Сказание о святых Борисе и Глебе». В этих творениях уже ясно воплотились те основные духовные начала, которые имели решающее значение для творчества Пушкина и Гоголя, Достоевского и Толстого (а также, конечно, для философского творчества Чаадаева, Константина Леонтьева и других).

Итак, принципиально «незападный» путь России не лишил ее возможности воздвигнуть одну из трех (или четырех) высочайших вершин литературы. Впрочем, прагматически мыслящие люди могут возразить, что литература – это все же «только» слово, а держава должна мериться и делом, или, говоря торжественнее, деяниями.

Странно, но многие склонны – особенно в последние годы – забывать или, вернее, не помнить, что за тысячу двести лет существования Руси-России было три попытки трех народов – монголов, французов и немцев – завоевать и подчинить себе остальной мир, и – этого все же никак не оспорить – все три мощнейших армады завоевателей были остановлены именно в России...

На Западе – да и у нас (особенно сегодня) – есть, правда, охотники оспаривать эти факты: монголы, мол, сами вдруг решили не идти дальше Руси, французов погубили непривычные им северные морозы (хотя беспорядочное бегство наполеоновской армии началось сразу после ее поражения под Малоярославцем, 14/26 октября, когда, как точно известно, температура не опускалась ниже 5 градусов тепла, и, даже позднее, 1 ноября, Наполеон заметил: «Осень в России такая же, как в Фонтенбло»⁴⁵), а немцы-де проиграли войну из-за налетов англоамериканской авиации на их города... Но все это, конечно, несерьезно, хотя вместе с тем нельзя не сказать, что исход трагических эпопей XIII, начала XIX и середины XX в. не так легко понять, и то и дело заходит речь об иррациональном «русском чуде». В самом последнем своем стихотворении Пушкин так сказал о 1812 годе:

...Русь обняла кичливого врага,

⁴⁴ Даймонт М. Евреи, бог и история. – М., 1994, с. 392, 398, 443.

⁴⁵ Коленкур Арман де. Поход Наполеона в Россию. – М., 1943, с. 220.

И заревом московским озарились
Его полкам готовые снега.

Это вроде бы неуместное «обняла» еще более, пожалуй, подходит для характеристики отношений Руси к полчищам Батые и его преемников. Все три беспримерные армады, стремившиеся завоевать мир (других в этом тысячелетии и не было), утратили свою мощь именно в «русских объятиях»... Естественно вспомнить и строки Александра Блока:

...хрустнет ваш скелет
В тяжелых, нежных наших лапах...

Итак, первостепенная, выдерживающая сравнение с чем угодно роль России во всемирно-историческом бытии и сознании выявляется с полной неопровержимостью на двух самых разных «полюсах» – от грандиозного деяния русского народного тела – конечно же, не бездуховного – до высочайшего духовного творчества в русском слове (многие плоды этого творчества давно нашли свое инобытие на всех языках мира), – хотя мировое значение России, разумеется, не исчерпывается этими двумя аспектами.

Поэтому любая самая резкая «критика» (безусловно, имеющая свою обоснованность) идеократической и евразийской природы Руси-России никак не может поколебать высшего (сопоставимого, повторю, с чем угодно в мире) значения ее цивилизации и культуры.

Правда, и «критика» России действительно имеет веские основания; это с очевидностью выявляется, например, в своего рода уникальной, беспрецедентной *уязвимости* русского государства. Так, в начале XVII и в начале XX века оно рушилось прямо-таки подобно карточному домику, – что было обусловлено, как явствует из непреложных фактов, именно его идеократичностью, а также его многоэтническим евразийством.

В. В. Розанов констатировал в 1917 году с характерной своей «удалью» (речь шла о Февральском перевороте): «Русь слиняла в два дня. Самое большое – в три. Даже «Новое время» (эта «черносотенная» газета выходила до 26 октября. – В. К.) нельзя было закрыть так скоро, как закрылась Русь... Не осталось Царства, не осталось Церкви, не осталось войска... Что же осталось-то? Станным образом – буквально ничего»⁴⁶.

И тогда же Розанов вопрошал: «Как же это мы просмотрели всю Россию и развалили всю Россию, делая точь-в-точь с нею то же самое, что с нею сделали поляки когда-то в Смутное время, в 1613-й год!...»

Василий Васильевич был не вполне точен, говоря о Смутном времени; поляки пришли в страну с уже рухнувшим государством. Но он всецело прав в своем беспощадном диагнозе: русская государственность во всех своих сторонах и гранях перестала существовать в 1917 году прямо-таки мгновенно, ибо для ее краха достаточно было решительно дискредитировать властвующую идею (те же «православие, самодержавие, народность»...).

В начале XVII века властвующая идея как бы исчезла, потому что пресеклась – в силу поочередной смерти всех трех сыновей скончавшегося в 1584 году Ивана Грозного – воплощавшая ее в себе (для того времени это было своего рода необходимостью) династия Рюриковичей. Могут сказать, что пресечение династии «наложилось» на имевший место в стране глубокий социальный кризис. Однако подобные кризисы бывали ведь и в другие времена (и раньше, и позже), но наличие воплощающего (буквально – в своей «царственной плоти») идею Божьего помазанника препятствовало полному краху государства.

Для понимания идеократической сущности России многое дает сопоставление судьбы большевиков и их противников, возглавивших Белую армию. Последние – при всех возмож-

⁴⁶ Розанов В. В. О себе и жизни своей. – М., 1990, с. 579.

ных оговорках – ставили своей задачей создать в России номократическое государство западного типа (характернейшей чертой программы Белой армии было так называемое «непредрешенство», подразумевающее не какую-либо государственную идею, а «законное» решение «законно» избранного Учредительного собрания). И это заранее обрекало на поражение врагов большевизма, для которого, напротив, власть – в полном соответствии с тысячелетней судьбой России (хотя большевики явно и не помышляли о таком соответствии) – была властью идеи (пусть и совершенно иной, чем ранее), идеократией. И в высшей степени закономерно, что дискредитация этой новой идеи к 1991 году опять-таки привела к мгновенному краху...

Короче говоря, идеократическое государство – заведомо «рискованная» вещь. И это так или иначе выявляется вовсе не только в периоды острейших кризисов. Все помнят и часто твердят тютчевскую строку:

В Россию можно только *верить*.

Строка эта нередко воспринимается как некая сугубо «оригинальная» постановка вопроса. Но, между прочим, на Западе почти в одно время с появлением тютчевского стихотворения было опубликовано следующее многозначительное рассуждение:

Россия «является единственным в истории примером огромной империи, само могущество которой, даже после достижения мировых успехов, всегда скорее принималось *на веру* (выделено мною. – В. К.), чем признавалось фактом. С начала XVIII столетия и до наших дней (писано в 1857 году. – В. К.) ни один из авторов, собиравшийся ли он провозносить или хулить Россию, не считал возможным обойтись без того, чтобы сначала доказать само ее существование»⁴⁷.

Это рассуждение принадлежит Карлу Марксу, но следует иметь в виду, что в своем отношении к России он предстает чаще всего, в сущности, не как марксист, а как западный идеолог вообще, – весьма проникательный, но характерно тенденциозный (Маркс, например, говорит там же, что «чарам, исходящим от России, сопутствует скептическое отношение к ней, которое... издевается над самим ее величием как над театральной позой, принятой, чтобы поразить и обмануть зрителей»; о принципиальном «актерстве» русских рассуждал еще до Маркса известный маркиз де Кюстин).

Утверждение, согласно которому Россия – не «факт», а только объект «веры», может показаться чисто риторическим вывертом (ведь перед нами как-никак шестая часть планеты, миллионы людей и т. п.). И все же в этом есть глубокая правда, ибо при крахе идеи мгновенно как бы превращаются в ничто вся мощь и все богатство громадной страны и, помимо прочего, распадается на куски ее евразийская многоэтничность... И ощущение, что Россия держится на *идее*, порождает то ее переживание, которое схвачено знаменитой тютчевской строкой.

Едва ли можно усомниться в том, что именно идеократическая и евразийская суть России определяла ее беспрецедентные крахи и падения; однако не стоит сомневаться и в том, что именно эта суть выражалась в ее великих победах и взлетах, в ее, по словам отнюдь не благоволившего России Маркса, «мировых успехах».

Маркс, между прочим, более всего напал на Россию, даже прямо проклинал ее за ее взаимоотношения с монголами, – взаимоотношения, которые, согласно его – в общем, верной – мысли именно и определили ее очередной «подъем» в XV веке. К этой теме мы теперь и переходим.

⁴⁷ Маркс Карл. разоблачение дипломатической истории XVIII века. – «вопросы истории», 1989, № 4, с. 3.

Монголы и Русь

Здесь перед нами до сего дня и в очень многом загадочная эпоха русской истории. Монгольская армада нанесла первое поражение Руси в 1223 году, а в 1237—1240-м годах прошла почти по всей ее территории огнем и мечом. И около четверти тысячелетия(!) Русь являлась монгольским улусом, только в 1480 году Иван III отверг свое подчинение ее повелителям. Но, как верно констатировал тот же Карл Маркс, «изумленная Европа, в начале правления Ивана едва знавшая о существовании Московии, стиснутой между татарами и литовцами, была ошеломлена внезапным появлением на ее восточных границах огромной империи, и сам султан Баязид, перед которым Европа трепетала, впервые услышал высокомерную речь москвитя»⁴⁸.

Не правда ли, по меньшей мере странный итог двух с половиной столетий «монгольского ига», о которых и западные, и вторившие им русские историки повествовали как о времени полного упадка Руси?

Разбираясь в существе дела, пришлось бы, между прочим, повторить многое из того, что сказано в начале этой главы о восприятии Византийской империи в допетровской Руси и, с другой стороны, в России XIX—XX веков, на историческое сознание которой оказывала сильнейшее воздействие западная идеология.

Гегель в своей «Философии истории» сказал о монголах (имея в виду, как он пояснил, и другие «кочевые» азиатские народы), что они-де живут, в сущности, бессодержательной «патриархальной жизнью», но «часто они собираются большими массами и благодаря какому-нибудь импульсу приходят в движение. Прежде мирно настроенные, они внезапно, как опустошительный поток, нападают на культурные страны, и вызываемый ими переворот не приводит ни к каким иным результатам, кроме разорения и опустошения. Такие движения народов происходили под предводительством Чингисхана и Тамерлана: они все растаптывали, а затем опять исчезали, как сбегает опустошительный лесной поток, так как в нем нет подлинного жизненного начала»⁴⁹.

Подобное представление о монголах, несмотря на все возможные оговорки и уточнения, присуще Западу и донныне. Так, через столетие после Гегеля Арнольд Тойнби писал, что «евразийские кочевники» – и в том числе монголы – являлись-де «не хозяевами, а рабами степи... Время от времени они покидали свои земли и врывались во владения соседних оседлых цивилизаций. Однако кочевник выходил из степи и опустошал сады цивилизованного общества не потому, что он решил изменить маршрут своего привычного годового климатико-вегетационного перемещения... Это происходило под воздействием внешних сил, которым кочевник подчинялся механически. Кочевника выталкивало из степи резкое изменение климата, либо его засасывал внешний вакуум, который образовывался в смежной области местного оседлого общества... Таким образом, несмотря на нерегулярные набеги на оседлые цивилизации, временно включающие кочевников в поле исторических событий, общество кочевников является обществом, у которого *нет истории* (выделено мною. – В. К.). Судьба империй, основанных номадическими (то есть кочевническими. – В.К.) завоевателями, покорившими оседлые народы, заставляет вспомнить притчу о семени, которое «упало на места каменистые... и, как не имело корня, засохло» (Матф. 13, 5-6)⁵⁰.

Внешнее «научообразие» смягчает характеристику Тойнби, но по своей сути она вполне совпадает с гегелевской, которая, собственно говоря, отказывала Монгольской империи в самом праве на существование.

⁴⁸ Маркс Карл. разоблачение дипломатической истории XVIII века. – «вопросы истории», 1989, № 4, с. 3.

⁴⁹ Гегель, цит. изд., с. 85.

⁵⁰ Гегель, цит. изд., с. 110.

Имеет смысл тут же привести суждения выдающегося азиатского идеолога – Дж. Неру, который в одно время с Тойнби писал в своем сочинении «Взгляд на всемирную историю» (1930–1933): «Монголы были кочевниками... Многие думают, что, поскольку они были кочевниками, они должны были быть варварами. Но это ошибочное представление... у них был развитый собственный уклад жизни, и они обладали сложной организацией... Чингис, без сомнения, был величайшим военным гением и вождем в истории. Александр Македонский и Цезарь кажутся незначительными в сравнении с ним... Он был в высшей степени способным организатором и достаточно мудрым человеком... Его империя, возникшая так быстро, не распалась с его смертью... Его изображают крайне жестоким человеком. Он, без сомнения, и был жесток, но он не слишком отличался от многих других властителей того времени... Когда умер Чингисхан, Великим ханом стал его сын Угедей (при нем его племянник Батый и покорил Русь. – В. К.)... он был гуманным и миролюбивым человеком... Спокойствие и порядок установились на всем огромном протяжении Монгольской империи... Европа и Азия вступили в более тесный контакт друг с другом...»⁵¹ (это можно определить и как создание евразийской империи).

Конечно, не исключено возражение, что «азиат» Неру слишком благосклонно оценил империю, созданную азиатом, и следует внести в его рассуждение определенные коррективы. Но вот что наиболее существенно: западные идеологи, как правило, применяют откровенный – даже, прошу извинения за резкость, наглый – двойной счет в отношении западных и, с другой стороны, восточных империй. Приведу только один, но выразительнейший образчик такого двойного счета.

Дискредитируя Монгольскую империю, которая-де занималась только тем, что «опустошала» цивилизованные общества, Тойнби в то же время поет дифирамбы западным империям. Он пишет, например, о деятельности короля, а затем императора франков Карла Великого и его преемников, которые совершали «дранг нах Остен», жесточайшим образом покоряя земли саксов, вендов (венедов), пруссов и т. п.

«Восемнадцать саксонских кампаний Карла могут сравниться лишь с *военными успехами Тамерлана* (выделено мною. – В. К.). За военными и политическими достижениями Карла последовали первые слабые проявления интеллектуальной энергии западного мира... Оттон уничтожил вендов... как Карл Великий уничтожил своих собственных саксонских предков... И только обитатели континентального побережья Балтийского моря оставались непокорными. На этом участке саксонский форпост призван был продолжить борьбу Оттона против вендов, которые в упорных сражениях продержались два столетия... Окончательная победа была достигнута... уничтожением непокорных в Бранденбурге и Мейсене... Города Ганзы и походы тевтонских рыцарей обеспечили продвижение границы западного христианства от линии Одера до линии Двины... к концу XIV в. континентальные европейские варвары исчезли с лица земли»⁵².

С явным торжеством перечисляя факты уничтожения племен, не желавших добровольно стать частью Западной империи, Тойнби по-своему прямо-таки замечательно говорит, что только Тамерлан достиг таких же «успехов», как Карл Великий! Впрочем, если учесть, что «уничтожение», начатое этим Карлом, длилось, по сообщению самого Тойнби, с конца VIII до конца XIV века (шестьсот лет!), западноевропейская империя далеко превзошла и Чингисхана, и Тамерлана со всеми их преемниками...

Но вернемся к «двойному счету». Западная империя – это прекрасно, а восточные-де не только чудовищны, но и вообще не имеют права на существование (они ведь только «опусто-

⁵¹ Неру Джавархарлал. взгляд на всемирную историю. – М., 1975, т. 1, с. 314.

⁵² Тойнби, цит. изд., с. 250.

шение»). Таков приговор западноевропейской идеологии, которая, увы, во многом определяла и определяет русскую идеологию XIX–XX веков.

Наиболее известный современный английский историк России Джон Феннел писал в своей книге «Кризис средневековой Руси» (1983), что, мол, «находиться в вассальной зависимости» от Монгольской империи «было позорно и бессмысленно»⁵³. Совершенно иначе оценивают западные историки вассальную зависимость тех или иных народов от империй Карла Великого или Карла V (XVI век); эта зависимость, по их убеждению, вводила каждый покоряемый народ в истинную цивилизацию.

К сожалению, многие русские историки и идеологи утверждают, подобно Феннелу, что зависимость от Монгольской империи – это только «позор» и «бессмыслица». Воздействию западной идеологии в этом отношении не подчинялись лишь подлинно глубокие и самостоятельные люди, – такие, как уже не раз упомянутый Чаадаев, который писал в 1843 году, что «продолжительное владычество татар (вернее, монголов. – В. К.) – это величайшей важности событие... как оно ни было ужасно, оно принесло нам больше пользы, чем вреда, вместо того, чтобы разрушить народность, оно только помогло ей развиться и созреть... оно сделало возможными и знаменитые царствования Иоанна III и Иоанна IV, царствования, во время которых упрочилось наше могущество и завершилось наше политическое воспитание» (т. 2, с. 161).

В XX веке чаадаевская постановка вопроса была развита и обоснована «евразийцами», показавшими, что Монгольская империя явилась окончательным утверждением Евразии как таковой – Евразии, основой которой позднее, после упадка империи, стало Московское царство, чьи границы уже во второй четверти XVII века достигли Тихого океана (как ранее – границы Монгольской империи).

Но в этой главе речь идет не об историософском наследии евразийцев (его освоением и так заняты сейчас многие и многие авторы), но о реальном историческом «наследстве» самой Монгольской (как и Византийской) империи.

При достаточно углубленном изучении русских исторических источников XIII–XVII столетий неопровержимо выясняется, что выразившиеся в них восприятие и оценка Монгольской (как и Византийской) империи решительно отличается от того восприятия и той оценки, которые господствуют в русской историографии и идеологии XIX–XX веков.

Мне могут напомнить, что в русском фольклоре – от исторических песен до пословиц – имеет место весьма или даже крайне негативное отношение к «*татарам*». Однако не столь уж трудно доказать, что здесь перед нами отражение намного более *поздней* исторической реальности; дело идет в данном случае о татарах Крымского ханства, об их, по существу, разбойничьем образе жизни: опираясь на мощную поддержку Турецкой империи, они с середины XVI до конца XVIII века совершали постоянные грабительские набеги на русские земли и, в частности, увели сотни тысяч русских людей в рабство.

Принципиально по-иному (чем позднейшее Крымское ханство) воспринимали и оценивали на Руси Монгольскую империю и ее – в русском словоупотреблении – царей. Обратимся хотя бы к сочинениям одного из виднейших церковных деятелей и писателей XIII века, архимандрита прославленного Киево-Печерского монастыря, а затем епископа Владимирского Серапиона.

Он ни в коей мере не закрывал глаза на страшные бедствия Монгольского нашествия, пережитого им вместе со всеми в юности. Около 1275 года он в высоком риторическом слогe вопрошал: «Не пленена ли бысть земля наша? Не взяты ли быша гради наши? Не вскоре ли падоша отци и братья наша трупием на земли? Не ведены ли быша жены и чада наша в плен? Не порабощены быхом оставшеи горькою си работою от иноплеменник? Се уже к 40 лет приближает томление и мука...»

⁵³ Феннел Джон. Кризис средневековой Руси. 1200–1304. – М., 1989, с. 213.

Но вот что Серапион писал о монголах, нелицеприятно сопоставляя их со своими одноплеменниками. Хотя они, писал он, «погании (то есть язычники. – В. К.) бо, Закона Божия не введуще, не убивают единовѣрных своих, ни ограбляют, ни обадят, ни поклеплют (оба слова означают «клеветать», «оговаривать». – В. К.), ни украдут, не запрятыся (зарятыся) чужого; всяк поганый своего брата не продаст; но кого в них постигнет беда, то искупят его и на промысл дадут ему... а мы творимся, вернии, во имя Божие крещени есмы и заповеди его слышаще, всегда неправды есмы исполнени и зависти, немилосердыя; братью свою ограбляем, убиваем, в погань продаем; обадами, завистью, аще бы можно, снели (съели. – В. К.) друг друга, но вся Бог боронит...»

Явное утверждение нравственного превосходства монголов (даже несмотря на их язычество) – не некий странный, «исключительный» образ мысли, напротив, перед нами типичная для той эпохи русская оценка создателей Монгольской империи. И вассальная зависимость Руси от этой империи отнюдь не рассматривалась как нечто заведомо «позорное и бессмысленное» (точно так же на Западе никто не считал «позором и бессмыслицей» зависимость тех или иных народов от «Священной Римской империи германской нации», в рамках которой развивалась западная цивилизация).

И потому, в частности, нет ничего неожиданного в том, что наивысшим признанием пользовались на Руси те «руководители» XIII–XIV веков, которые всецело «покорялись» вассалитету – св. Александр Невский, Иван Калита, св. митрополиты Петр и Алексий и т. п. (историки начали «критиковать» их за «покорство» монголам лишь в XIX веке).

Тут, конечно, встает вопрос о времени конца XIV века, о Дмитрии Донском, святых Сергии Радонежском и митрополите Киприане, решившихся на Куликовскую битву. Однако существование этого события начало действительно открываться нам лишь в самое последнее время. Александр Блок, создавший замечательный поэтический цикл «На поле Куликовом», отнес битву 1380 года к таинственным «символическим» событиям и прозорливо сказал о таких событиях: «Разгадка их еще впереди».

Куликовская битва, свершившаяся почти через полтора века после монгольского нашествия и за сто лет до конца «монгольского ига», требует отдельного и тщательного рассмотрения. Но один аспект дела уместно затронуть и здесь. Всем известно, что преп. Сергий Радонежский благословил Дмитрия Донского на бой и победу, сказав ему (как сообщено в житии этого величайшего русского святого): «Пойди противу безбожных, и Богу помогаючи ти, победиши...»

Однако в древних рукописях жития преп. Сергия сохранился и совершенно иной ответ святого на просьбу великого князя Дмитрия о благословении на битву с Мамаем: «... пошлина (то есть давно установленный порядок. – В. К.) твоя держит (препятствует – В.К.), покорятися ордынскому царю должно»⁵⁴.

Существует точка зрения, согласно которой этот ответ преп. Сергий дал не в 1380 году, но ранее, в 1378-м – перед битвой (11 августа) на реке Боже (недалеко от старой Рязани) с войском Бегича. Но так или иначе едва ли есть основания сомневаться, что преп. Сергий не предлагал идти на битву с «царем», то есть с повелителем Монгольской империи. В том тексте жития, где рассказано о безоговорочном благословении святого, Мамай назван не «царем», но «князем». И для того времени это было исключительно существенным различием. «Великий князь» (а он назывался именно так) Дмитрий вышел на бой не с царем, а, собственно говоря, с самозванцем, который был заклятым врагом и самой Монгольской империи.

Как сообщается в наиболее подробных летописях (см., напр., ПСРЛ, т. XV, вып. 1), сразу после победы над Мамаем, «на ту же осень (то есть 1380 года. – В. К.) князь великий в Орду своих киличеев (послов. – В. К.) Толбугу да Мокшея к новому царю (имеется в виду недавно

⁵⁴ Тихонравов Н. С. Древние жития преподобного Сергия радонежского. – М., 1982, с. 137.

воцарившийся Тохтамыш. – В. К.) с дары и поминки» (стб. 142). Сообщает летопись и о том, что в конце 1380 или начале 1381 года «царь Тохтамыш победи Мамай» – то есть окончательно добил его, – и «послы свои отпусти к князю Дмитрию и ко всем князьям русским, поведая... како супротивника своего и их врага Мамай победи... Князи же русстии послов его (царя. – В. К.) отпустиша в Орду с честью и с дары, а сами на зиму ту и на весну (1381 года. – В. К.), за ними, отпустиша своих киличеев с многими дары ко царю Токтамышю» (стб. 141). Итак, Дмитрий Донской сообщил монгольскому царю о своей победе на Куликовом поле как о заслуге и перед ним, царем, затем царь известил князя Руси об осуществленном им окончательном разгроме Мамай и, наконец, Русь поблагодарила царя за эту его победу.

Об этих существеннейших фактах истории, как правило, полностью умалчивают, ибо они никоим образом не вписываются в предлагаемую ими картину взаимоотношений Руси и Монгольской империи. Ведь из приведенных сообщений, в достоверности которых у нас нет никаких оснований усомниться, ясно, что Дмитрий Донской сражался на Куликовом поле отнюдь не против Монгольской империи, и преп. Сергей Радонежский благословил его на эту битву, надо думать, лишь тогда, когда стало очевидно, что Мамай – враг и Руси, и всей империи.

Конечно, все это нуждается в подробном и масштабном анализе и осмыслении; в частности, как непонятное – без специального исследования – противоречие предстает последующий набег царя Тохтамыша на Москву (23 августа 1382 года). Но, во всяком случае, едва ли можно утверждать (хотя это постоянно делается), что Куликовская битва являла собой выступление Руси против Монгольской империи.

Не менее важно правильно понять само окончание вассалитета Руси по отношению к империи. Здесь опять-таки дело вовсе не сводилось к борьбе: в XV веке Москва, выражаясь вполне точно, переняла эстафету власти над Евразией у ослабевшей и распадающейся империи и постепенно присоединяла к себе ее «куски» – Казанское, Астраханское, Сибирское ханства. Только ханство Крымское, ставшее, по сути дела, частью Турецкой империи, сохранялось вплоть до конца XVIII века.

О том, что события XV–XVI веков являли собой не столько войну с остатками Монгольской империи, сколько именно переход власти в руки Москвы, убедительно писали историки-евразийцы, прежде всего Г. В. Вернадский (речь идет здесь не о его идеях, а об освоенных им исторических фактах). В своем «Начертании русской истории» (1927) он показал, в частности, как целый ряд знатнейших потомков Чингисхана – таких, как Шах-Али (Шигалей), Саин-Булат (Симеон Бекбулатович), Симеон Касаевич, – добровольно перешли на службу Московского царя и обрели здесь самое высокое признание. Так, Шах-Али являлся главнокомандующим русским войском в Ливонской и Литовской войнах 1550–1560-х годов, а крестившийся Саин-Булат (Симеон) был даже провозглашен в 1573 году «великим князем Всея Руси» и после кончины царя Федора Иоанновича 1598 г.) считался одним из главных претендентов на русский престол.

Нельзя не сказать еще, что переход в Москву тех или иных людей из монгольских верхов начался раньше и даже намного раньше того 1480 года, когда Иван III отверг вассалитет. Уже в XIII веке племянник Батгя принял христианство с именем Петра и стал так верно служить Руси, что был причислен к лику святых (преп. Петр, царевич Ордынский; его потомком, между прочим, был величайший иконописец эпохи Ивана III Дионисий).

Одним из приближенных Дмитрия Донского был царевич-чингизид Серкиз; его сын Андрей Серкизов командовал одним из шести русских полков, пришедших на Куликово поле.

Когда в 1476 году – то есть еще до «свержения ига» – итальянский дипломат Амброджо Контарини приехал в Москву, он столкнулся с парадоксальной, но вполне типичной для Руси того времени ситуацией. Великий князь Иван III, сообщал Контарини (надо думать, не без удивления), имеет «обычай ежегодно посещать... одного татарина (по-видимому, речь шла о

хане Касимовском. – В. К.), который на княжеское жалованье держал пятьсот всадников... они стоят на границах с владениями татар, дабы те не причиняли вреда стране великого князя»⁵⁵.

Нельзя не коснуться в связи с этим акта присоединения к России Казанского ханства, ибо его смысл явно неосновательно толкуется и русскими историками (точнее, большинством из них), в глазах которых взаимоотношения Руси и Монгольской империи (и ее остатками) предстают как непримиримая война, и некоторыми (к счастью, далеко не всеми) историками Татарстана, усматривающими во взятии русскими войсками Казани акт порабощения и даже чуть ли не геноцида своего дотоле свободного народа.

Казань (точнее, «Старая Казань»), по-видимому, еще в конце XII века стала столицей существовавшего с X века государства волжско-камских булгар. Но вскоре Булгария (почти в одно время с Русью) была завоевана Батыем и до тридцатых годов XV века являлась, по сути дела, таким же вассалом Монгольской империи, как и Русь; болгарские князья подобно русским платили дань и исполняли вассальные обязанности.

Но к середине XV века, после фактического распада государства монголов, бывший его царь Улу-Мухаммед, изгнанный соперниками из Сарая и затем из Крыма, и оставшийся, таким образом, без владения, захватил Казань, убил ее болгарского владельца Али-Бека (иначе – Алибея) и сел на его место (согласно другой, менее достоверной версии, это сделал сын Улу-Мухаммеда, Махмутек). Есть, между прочим, достаточные основания полагать, что вначале Улу-Мухаммед имел намерение «сесть» подобным же образом не в Казани, а в Москве, но, по-видимому, счел этот план нереальным.

В дальнейшем Казанское ханство существовало – наряду с Крымским, Астраханским, Сибирским, – как своего рода осколок империи; ханства уже никак не могли объединиться, подчас активно соперничали, но нередко в трудные моменты так или иначе поддерживали друг друга. В частности, после смерти в 1518 году правнука Улу-Мухаммеда, не оставившего сыновей, из Крыма в Казань был прислан с войском и свитой младший брат тамошнего хана, Сагиб-Гирей; особенно знаменательно, что позднее он вернулся в Крым, а в Казань прислал оттуда своего племянника Сафа-Гирея, правившего до своей кончины в 1549 году, – за три года до взятия Казани русским войском.

Двухлетний сын Сафа-Гирея, Утемыш-Гирей, естественно, не мог править, и помощь Казанскому ханству на этот раз пришла уже не из Крыма, а из Астрахани. В начале 1552 года в Казань явился царевич Едигер – сын хана Астраханского, правнук Ахмата (который пытался в 1480 году заставить подчиниться ему Ивана III). Он пришел, сообщает составленный вскоре после событий их непосредственным очевидцем «Казанский летописец», и «с ним прииде в Казань 10 000 варвар (то есть не христиан. – В. К.), кочевных самовольных, гуляющих в поле». Цифру эту, могущую показаться произвольной, подтверждает другой очевидец – князь Курбский в своем рассказе о взятии Казани (в его сочинении 1573 года «История о великом князе Московском»), сообщая, что во время последней решающей схватки хана Едигера окружали именно 10 000 отборных воинов.

Из этого, естественно, следует вывод, что битва за Казань шла – хотя бы прежде всего, главным образом, – не между русскими и коренным населением ханства, а между боевыми силами чингизида Едигера, которые он привел из Астрахани, и московским войском. При любых возможных оговорках все же никак нельзя считать правление Едигера и его воинов воплощением *национальной* государственности народа, жившего вокруг Казани, – хотя это и делают некоторые татарские историки.

Итак, судьба Москвы и Казани со времен монгольского нашествия и до 1430—1440-х годов была аналогичной: правившие в этих городах князья являлись вассалами монгольского хана – «царя». Но с момента захвата Казани Улу-Мухаммедом, убившим принадлежавшего к

⁵⁵ Барбаро и Контарини о России. – Л., 1971, с. 226.

коренному населению князя Алибея, положение стало принципиально иным: представим себе, что чингизид Улу-Мухаммед смог захватить не Казань, а Москву, убить княжившего тогда Василия II (отца Ивана III) и править в Москве вместе со своим войском и свитой... Поэтому, повторяю, по меньшей мере некорректно усматривать во взятии Казани московским войском в 1552 году подавление национальной государственности.

Впрочем, и вопрос о борьбе Москвы с чингизидами и их войсками, основу которых составляли люди, называвшиеся к тому времени «татарами», не так прост, как чаще всего думают. Дело в том, что московское войско, пришедшее в Казань, включало в себя больше татар, нежели войско Едигера.

Неверное представление о всей исторической ситуации эпохи заставляет закрыть глаза даже на предельно выразительные факты. Уже упомянутый «Казанский летописец» рассказывает о том, как царь Иван Васильевич (Грозный) по пути на Казань, в Муроме, «благодарно... учиняет начальники воев»:

«В преднем же полку начальных воевод устави над своею силою: татарского крымскаго царевича Тактамыша и царевича шибанского Кудайта... В правой руке начальных воевод устави: касимовского царя Шигалея... В левой же руке начальные воеводы: астороханский царевич Кайбула... В сторожевом же полце начальные воеводы: царевич Дербыш-Алей»...

К этому необходимо добавить, что ранее в «Летописце» сообщено следующее: «прииде в Муром град царь Шигалей ис предела своего, ис Касимова, с ним же силы его варвар 30 000; и два царевича Астроханской Орды... Кайбула именем, другой же – Дербыш-Алей... дающиеся волею своею в послужение царю великому князю, а с ними татар их дватцать тысяч»⁵⁶.

Разумеется, основу войска составляли русские (я опустил в цитатах имена русских воевод), но летописец на первые места везде ставил чингизидов, – хотя бы потому, что русские военачальники никак не могли сравниться с чингизидами с точки зрения знатности.

Как же все это понять? При верном общем представлении о том, что совершалось в XV–XVI веках, здесь нет никаких загадок. Власть на тех территориях, которые принадлежали Монгольской империи, переходила в руки Москвы, поскольку – в силу многих причин – чингизиды уже не могли удержать эту власть. Наиболее дальновидные чингизиды постепенно переходили на московскую службу, получая очень высокое положение в русском государстве и обществе.

Конечно, это был не простой процесс. Так, тот самый астраханский царевич Едигер, который в 1552 году стал ханом Казанским, десятью годами ранее прибыл в Москву, а в 1547-м во время неудачного похода на Казань был одним из русских «начальных воевод». Но чаша весов еще, казалось, колеблется, и через пять лет Едигер, став ханом Казанским, отвергал все предложения подчиниться Москве. Впрочем, оказавшись в плену, он через какое-то время принял крещение с именем Симеона Касаевича (сын Касима), сохранил титул «царь Казанский» и занял высшее положение при Московском дворе и государстве в целом (так, в летописных описаниях церемоний царь Казанский Симеон стоит на *втором* месте после Ивана Грозного).

Ярко раскрывается судьба «монгольского наследства» и в участи потомков всем известного сибирского хана Кучума. Сибирь дольше других областей (исключая занятый турками

⁵⁶ Казанская история. – в кн.: Памятники литературы Древней Руси. Середина XVI века. – М., 1985, с. 462. Эти сведения из «Казанской истории» или, иначе, «Казанского летописца» кажутся некоторым исследователям недостоверными, ибо господствует мнение о непримиримой борьбе Руси с остатками Монгольской империи. так, комментаторы новейшего издания «Казанского летописца», т. Ф. Волкова и И. А. Евсеева утверждают, что упомянутые царевичи-чингизиды «на самом деле в походе на Казань не участвовали». Они не отрицают, что Чингизид Шигалей (Шах-али) принимал участие в походе, ибо об этом сообщают многие источники. Но об остальных чингизидах сведения есть только в наиболее обстоятельном «Казанском летописце», и потому комментаторы подвергают их сомнению. Между тем этот летописец создавался вскоре после событий (в 1564–1565 гг.), когда большинство участников похода еще было живо, и неосновательно предполагать, что в рассказ о Казанском походе 1552 года вошли заведомо ложные сведения о целом ряде всем известных людей. такое случалось только в произведениях, создававшихся намного позже описываемых событий. Словом, сомнение комментаторов продиктовано, очевидно, неверным представлением о характере взаимоотношений Руси и сходящей с исторической сцены монгольской власти над Евразией.

Крым) переходила под руку Москвы. Только в январе 1555 года тогдашний хан Сибири Едигер (тезка хана Казанского) признал себя вассалом московского царя. Однако в 1563-м потомок старшего сына Чингисхана Джучи (старшим сыном этого Джучи был, кстати сказать, и сам Батый), хан Кучум, разгромил и убил Едигера и вскоре порвал отношения с Москвой. В 1582 году он потерпел поражение от Ермака, а в 1585-м, напротив, Ермак погиб в бою с Кучумом, который до 1598 года продолжал отстаивать свою власть над Сибирью.

Впрочем, широко распространенное представление о Кучуме как бы исчерпывается словами явно не очень осведомленного в сибирских делах Кондратия Рылеева:

Кучум, презренный царь Сибири...

Итак, потомок Чингисхана Кучум не пожелал подчиниться московскому царю. Тем не менее его сыновья Алей (который, кстати сказать, долго воевал против Москвы вместе с отцом) Абул-хаир, Алтапай, Кумыш сохранили титулы «царевичи Сибирские» и пользовались на Руси самым высоким почетом. Сын Алея, Алп-Арслан в 1614–1627 годах был правителем относительно автономного Касимовского ханства. А сын последнего, Сеид-Бурхан, принял христианство с именем «Василий, царевич Сибирский» и выдал свою дочь (то есть праправнучку Кучума) царевну Сибирскую Евдокию Васильевну ни много ни мало за брата русской царицы (супруги Алексея Михайловича и матери Петра I), Мартемьяна Кирилловича Нарышкина. Другой праправнук Кучума (правнук его сына Кумыша), также названный Василием (по-видимому, царевичи Сибирские уже знали, что по-гречески «Василий» означает «царь») стал близким сподвижником русского царевича – сына Петра I, злополучного наследника престола Алексея. Из-за этого пострадали все царевичи (вместе с ними, конечно, подверглось гонениям немало и русских людей из окружения царевича Алексея): с 1718 года им было повелено считаться отныне только *князьями* Сибирскими. Тем не менее внук опального царевича Василия, князь Василий Федорович Сибирский, живший уже во второй половине XVIII – начале XIX века, стал генералом от инфантерии (чингизидская военная косточка!) и сенатором при Александре I; он едва ли мог без возмущения воспринимать рылеевскую балладу.

Этот генеалогический экскурс, как мне представляется, небезынтересен и сам по себе, но важнее всего осознать, что ложные и, в конечном счете, внушенные западной идеологией понятия о роли Монгольской империи и ее наследства в России как бы вычеркивают подобные факты из нашего внимания. А между тем факты такого рода поистине неисчислимы, и они ясно говорят о том, что господствующие представления об отношениях Руси и Монгольской империи (и ее наследия) совершенно не соответствуют исторической реальности.

Как уже сказано, восприятие Русью монгольского наследства окончательно сделало ее *евразийской* державой и, в частности, исключало какое-либо «высокомерие» русского национального сознания в отношении азиатских народов. В связи с этим стоит привести два очень весомых высказывания крупнейших политических деятелей Запада. Один из них – князь Отто фон Бисмарк (1815–1898), посланник Пруссии в Петербурге, затем прусский министр-президент и министр иностранных дел, наконец, канцлер Германии. Он со знанием дела писал: «Англичане ведут себя в Азии менее цивилизованно, чем русские; они слишком презрительно относятся к коренному населению и держатся на расстоянии от него... Русские же, напротив, привлекают к себе народы, которые они включают в свою империю, знакомятся с их жизнью и сливаются с ними»⁵⁷.

Характерно, что это подтвердил позднее и виднейший английский политик, лорд Джордж Керзон (1859–1925), вице-король Индии, а затем министр иностранных дел Великобритании: «Россия, – писал он, – бесспорно обладает замечательным даром добиваться верности и

⁵⁷ «Вопросы истории», 1994, № 1, с. 182. (Перевод видного историка В. Н. Виноградова).

даже дружбы тех, кого она подчинила силой... Русский братается в полном смысле слова. Он совершенно свободен от того преднамеренного вида превосходства и мрачного высокомерия, который в большей степени воспламеняет злобу, чем сама жестокость. Он не уклоняется от социального и семейного общения с чуждыми и низшими расами... Я вспоминаю церемонию встречи царя (Николая II. – В. К.) в Баку, на которой присутствовали четыре хана из Мерва в русской военной форме. Это всего лишь случайная иллюстрация последовательно проводимой Россией линии... Англичане никогда не были способны так использовать своих недавних врагов»⁵⁸.

В этих, можно сказать, «завистливых» высказываниях крупнейших политиков Запада существенны не только верные наблюдения, но и – в равной мере – довольно грубые неточности. Во-первых, и Бисмарк, и Керзон едва ли правильно характеризуют поведение русских в Азии только как выражение осознанной политической линии; евразийство России – органическое качество, естественно сложившееся в течение тысячелетия (хотя, конечно, имели место и политическая стратегия, и тактика). Далее, ошибочно бисмарковское положение о большей, в сравнении с англичанами, «цивилизованности» поведения русских в Азии; речь должна идти не о количественной мере цивилизованности, но о качественно иной цивилизации. И уж совсем ложны слова Керзона о том, что русские не уклоняются от общения с «низшими расами»; в русской ментальности (какие-либо исключения здесь только подтверждают правило) просто нет самого этого – сложившегося на Западе – представления о «низших» (и «высших») расах и т. д.

Нельзя не предвидеть, впрочем, что все сказанное мной о евразийском «составе» России может вызвать резкое возражение такого характера: к чему все эти благодушные рассуждения, если Россия была и остается «тюрьмой народов»?.. «Формула» эта восходит, как полагают, еще к книге маркиза де Кюстина⁵⁹, – то есть опять-таки к западной идеологии, но она давно стала обязательной и в устах всех туземных «критиков» Российского государства.

Необходимым исходным пунктом данной формулы является (хотя это не очень уж осознается) тот факт, что основные страны современного Запада, в отличие, от России, предстают в качестве *мононациональных*. Вот, мол, французы, англичане, немцы создали свои государства на своих же территориях, не захватывая земель, принадлежащих иным народам, а русские, не ограничиваясь «собственными» землями, поработили множество других народов и племен...

Между тем такое сопоставление стран Запада и России, вне которого и не могла бы возникнуть формула «тюрьма народов», основано на поистине странной слепоте или, скажем так, забывчивости. Ибо не надо быть специалистом в области этнографии, дабы знать, что в силу уникально благоприятных для жизни людей географических условий (гораздо более благоприятных, чем российские) Западная Европа с давних времен влекла к себе массу различных племен, и к тому историческому моменту, когда французы, англичане и немцы начали создавать свои государства, на землях, где воздвигались эти государства, жило великое множество различных этносов, – *кельтских, иллирийских, балтских, славянских* и т. д.

Их имелось не меньше (если не больше), чем на территории России. Однако в течение веков они были стерты с лица земли посредством жестокого давления со стороны трех господствующих этносов или даже прямого физического уничтожения, – о чем, кстати, не без более чем сомнительного воодушевления сообщается в приводившихся выше высказываниях Арнольда Тойнби...

Не секрет, что преобладающая часть всей топонимики (названий местностей, рек, гор, даже городов и селений и т. д.) Франции, Великобритании и Германии не является француз-

⁵⁸ Цит. по кн.: Нестеров Ф. Связь времен. Опыт исторической публицистики. – М., 1980, с. 107–108.

⁵⁹ См.: Ашукин Н. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова. Литературные цитаты. Образные выражения. – М., 1966, с. 676–677.

ской, английской и немецкой. Более того, даже общее название «Великобритания» происходит от кельтского народа бриттов (а не германского – англов); точно так же самая обширная часть Германии – Пруссия – это территория стертого с лица земли наиболее значительного и культурного балтского народа – пруссов. И, между прочим, нет никакого сомнения, что если бы немцы в давние времена смогли надолго подчинить себе и земли восточнее Немана, то и от других балтских этносов – литовцев и латышей – уцелели бы, в лучшем случае, только названия (стоит в связи с этим подумать о судьбе данных народов в составе России...).

Невозможно излагать здесь всю этническую историю стран Запада, но для уяснения проблемы достаточно в самых общих чертах сравнить ее с этнической историей России, – той России, даже в центральной части которой на протяжении веков жили, росли и крепили вроде бы совсем «чужие» русским народы – башкиры, коми, марийцы, мордва, татары, удмурты, чуваш и т. д., а на окраинах столетиями сохранялись даже и самые малочисленные этносы в несколько тысяч или даже в несколько сот (!) человек.

На Западе же многие десятки народов либо вообще исчезли, либо превратились к нашему времени в своего рода этнические реликты (как шотландцы, валлийцы, бретонцы, гасконцы, лужичане и т. п.). Ныне всего только два народа, живущие на территориях крупных западноевропейских стран, продолжают отстаивать себя как еще живые силы – ирландцы (в британском Ольстере) и баски (в Испании и Франции). Много лет они ведут кровавую войну за элементарную национальную автономию...

И если уж называть Россию «тюрьмой народов», то, в точном соответствии с логикой, следует называть основные страны Запада не иначе как «кладбищами народов», а потом уж решать, что «лучше» – тюрьма или кладбище...

Во всяком случае, совершенно неосновательна «критика» России, продиктованная, в сущности, самим тем фактом, что в ее пределах (в отличие от основных стран Запада) жило и живет сегодня множество различных народов; при всех возможных оговорках этот факт должен бы вызывать восхищение, а не поношение...

На этом я завершаю свое – конечно же, ни в коей мере не исчерпывающее проблему, – размышление, хотя вполне естественно встает вопрос: как же понимать в свете идеократической и евразийской природы России все то, что происходит с нашей страной в наше время? Но не надо, полагаю, доказывать и то, что эта тема нуждается в специальном развернутом осмыслении...

Глава 3. Воплощение в русском Слове «героического» периода истории Руси

... Удивляюсь, как мог Карамзин написать так сухо первые части своей «Истории», говоря об Игоре, Святославе. Это героический период нашей истории.

Пушкин, 1827 год

И бытие, и сознание любого народа уходят своим корнями в «доисторические» времена, длившиеся тысячелетиями. Это с очевидностью предстает, например, в содержании русского героического эпоса – богатырских былин, которые являют собой ценнейшую часть начальной стадии развития национальной культуры. Один из ярких исследователей этого эпоса (более известный как создатель выдающихся исторических романов) Дмитрий Балашов полагает, что истоки тех или иных былин восходят еще к V–III векам (или даже к VII (!) веку)⁶⁰ до нашей эры, хотя и делает существенную оговорку: «История военных славян археологами прослежена пока в глубь времени лишь до IV в. н. э. Далее начинается область гипотез» (там же, с. 17).

Русский героический эпос, конечно же, вобрал в себя те или иные образы и мотивы, сложившиеся еще в общеславянскую, праславянскую и даже дославянскую (общеиндоевропейскую) эпохи, то есть за много столетий до того времени, когда эпос этот действительно стал формироваться. Но вместе с тем едва ли можно оспорить, что необходимо все же разграничивать эпос в собственном смысле слова и те элементы сознания и творчества, которые предшествовали его формированию, а войдя в него, обрели совсем уже иной смысл и значение.

Известнейший современный специалист в области исторической теории эпоса, давно вписавшийся во всемирный контекст этой теории, Е. М. Мелетинский (между прочим, отнюдь не принадлежащий к «патриотическому» направлению), основательно доказывает, что «героический эпос в отличие от народной сказки тяготеет к историческим, национальным, государственным масштабам. Его история тесно связана с процессом формирования народностей и древнейших государств... Эпос... наполнен... патриотическим пафосом. В частности, мифологические образы (по мере того как племенное сознание в связи с этно-политической консолидацией поднимается до государственного и национального) постепенно вытесняются историческими. Поэтому эпос в известном смысле всегда историчен. Даже в мифологических образах эпос выражает народный взгляд на историю...»⁶¹

Поэтому речь должна идти о взаимосвязи, о единстве понятий (и, конечно, запечатленных в этих понятиях реальностей): 1) героического эпоса как явления *культуры*, 2) *государственности* немислимой без идеи патриотизма, и, наконец, 3) *истории* в собственном смысле слова. Рождение героического эпоса нераздельно связано с возникновением государственности (пусть хотя бы в ее зачатках), но ведь и история как таковая начинается только вместе с началом государственности. До этого момента жизнь человеческой общности (племени или даже группы племен) может являться, строго говоря, предметом *этнографического*, но не собственно исторического знания. Ибо, лишь обретая государственность, человеческая общность становится полноценным *субъектом* истории или, если выразиться более торжественно, ее *творцом*.

Дальнейшее освещение нашей темы – история Руси и русского Слова – не может не быть нераздельно связано с освещением проблемы героического эпоса, ибо этот эпос (что можно

⁶⁰ Балашов Д. М. Из истории былинного эпоса. Святогор. – в кн.: русский фольклор. вып. XX, Фольклор и историческая действительность. Л., 1981, с. 20.

⁶¹ Мелетинский Е. М. Происхождение героического эпоса. ранние формы и архаические памятники. – М., 1963, с. 423.

бы подтвердить бесчисленными ссылками и на факты, и на выводы авторитетных исследователей) – наиболее *раннее* подлинно существенное воплощение начавшейся *истории* народа – воплощение ее в *слове* и, если ставить вопрос более широко, в культуре. Эпос ясно свидетельствует, что *история* народа началась; но верно и обратное умозаключение – начало истории закономерно подразумевает рождение героического эпоса.

Когда же началась русская история как таковая? Прежде чем пытаться ответить на этот вопрос, целесообразно обратить взгляд к времени вполне очевидного и мощного воплощения русской истории – эпохе Ярослава Мудрого, правившего в Киеве с 1016 по 1054 год (с небольшим перерывом в 1018–1019 годах из-за междоусобной войны) и носившего титулы цесаря и кагана, приравняемые к императорскому. Какова Русь этой эпохи?

Огромная, особенно по тогдашним меркам, государственная территория, простиравшаяся с севера на юг от Белого до Черного моря и с запада на восток от речного бассейна Вислы до Камы. Развитые и прочные международные отношения и связи (что выразилось, в частности, в брачных союзах семьи Ярослава с правящими династиями Византии, Германии, Франции, Англии, Венгрии, Польши, Швеции, Норвегии). Обилие крупных по тем временам городов: Киев, уступавший тогда по величине (в Европе) только византийскому Константинополю и арабской Кордове, а также Чернигов, Переславль-Русский, Галич, Туров, Владимир-Волынский, Полоцк, Витебск, Смоленск, Муром, Ростов, Суздаль, Новгород, Псков, Юрьев (ныне – Тарту), Ладога и другие города (в том числе и отдаленная Тмутаракань у устья Кубани), которые в последнее двадцатилетие правления Ярослава Мудрого были прочно связаны с центральной, киевской властью, осуществляя ее волю на окружающих их территориях.

О военной мощи Ярославовой Руси ясно свидетельствует тот факт, что в 1036 году были наголову разбиты напавшие на Киев печенеги – те самые печенеги, которые полтора века со времени их появления в причерноморских степях (889) атаковали многие соседние земли и народы.

Чрезвычайно внушительно культурное творчество этой эпохи. Ведь еще и сегодня покоряют своим величием воплотившие в себе многообразные человеческие усилия и устремления соборы святой Софии в Киеве (1037) и в Новгороде (1050), духовная и просветительная деятельность Киево-Печерского монастыря (деятельность эта ярко воссоздана в составлявшемся начиная с XI века «Киево-Печерском патерике» и «Повести временных лет»), исполненное глубины смысла и совершенства стиля «Слово о законе и Благодати» митрополита Илариона, проникновенное «Сказание и страдание и похвала святым мученикам Борису и Глебу»⁶², которое в определенных отношениях являет собой непосредственный прообраз великой русской литературы XIX века (о чем еще пойдет речь). Наконец, дошла до нас – пусть и с позднейшими наслоениями – воплощенная в слове правовая, законодательная воля эпохи Ярослава, установившая основы государственного, церковного, общественного строя («Правда Ярослава», ставшая фундаментом «Правды Русской», устав о церковных судах и т. п.).

Все перечисленное, разумеется, только часть из того, что представляла собой Русь в середине XI века. Но сотворение зрелой государственности и культуры, а следовательно, творчество самой Истории в ее полновесном значении, запечатлелось даже и в названных явлениях со всей осязаемостью.

Более того, эпохе Ярослава присущи не столь уж характерные для русской истории черты «законченности», отчужденности, завершенности. Это было понятно ее современникам. Так, митрополит Иларион в своем «Слове», обращаясь к духу крестителя Руси Владимира, говорит именно о «воплощающем», завершающем значении деяний его сына Ярослава:

⁶² Иногда это произведение датируют более поздним временем, но один из наиболее авторитетных его исследователей, С. А. Богуславский, относил его ко времени Ярослава Мудрого.

Его ведь сотворил Господь
наместником тебе,
твоему владычеству,
не рушащим твоих уставов,
но утверждающим...
не искажающим,
но завершающим,
что недокончено тобой заканчивающим...
Он дом Божий великий
Его Святой Премудрости создал...
И славный город твой Киев
величеством, как венцом, облек...⁶³

И эта воплощенность эпохи внятно воспринимается нами еще и сегодня, почти через тысячелетие... А ведь между тем, углубляясь во времени от начала расцвета Ярославовой державы (1030-е годы) всего лишь на столетие – да и даже только на полстолетия! – назад, мы не обнаруживаем подобных воплощений, «кристаллов» исторического (государственного и культурного) творчества. И истинное великолепие Ярославовой Руси может показаться возникшим словно бы из ничего – как некое чудо.

Есть, впрочем, «простое» объяснение, особенно характерное для зарубежной историографии: все или почти все историческое величие Руси XI века создано, мол, не «туземцами», а Византией, – как и на целом ряде других территорий вокруг Черного моря, испытавших воздействие этой империи, которая с точки зрения зрелости государственности и культуры не просто превосходила все тогдашние страны Европы и Передней Азии (кстати сказать, Арабский халифат к тому времени уже находился в состоянии распада), но обладала в этих аспектах принципиально иным уровнем, ибо была, в частности, единственной прямой наследницей античного мира.

Роль византийской, или, вернее, восточнохристианской, государственности и культуры в развитии Руси, разумеется, неоспоримо велика. Но нельзя забывать, что в отличие от всех земель вокруг Черного моря, которые входили в Византийскую империю (как Балканы, Крым, Закавказье), Киев отделяло от ее границы шестисоткилометровое пространство. И восточнохристианские ценности не «насаждались» на Руси самой Империей (как в землях вокруг Черного моря), но усваивались, так сказать, по собственной воле Киева.

Что же касается присоединенных к Византии земель, непосредственно окружающих Черное море, то, несомненно, сами византийцы (в частности, их многочисленные войска) создавали здесь и тело и душу государственности и культуры. Между тем на Руси воля к созиданию исходила все же от «туземцев», приглашавших тех или иных «специалистов» из Империи (о чем не раз сообщается в древнерусских письменных памятниках) и, с другой стороны, постоянно отправлявшихся в далекие византийские города и монастыри, чтобы брать уроки государственного и культурного созидания.

Ситуация эта в конечном счете вполне подобна той, которая существовала в отношениях России и Западной Европы в XVIII–XIX веках. И до сих пор живуче, особенно за рубежом, мнение, согласно которому новая, послепетровская Россия была-де попросту «пересажена» с Запада. Но сегодня эта «концепция» неспособна выдержать сколько-нибудь серьезное обсуждение...

⁶³ Здесь и далее перевод на современный язык В. Я. Дерягина.

Столь же легковесны и попытки объяснить самую основу расцвета Руси в первой половине XI века влиянием Византии – влиянием, которое ведь ни в коей мере не сказалось, например, на племенах, обитавших между Русью и Византией, подчас на самой границе последней, и имевших с ней длительные взаимоотношения – таких, как приазовские («черные») болгары, печенеги, угры, половцы и т. п. Из этого следует заключить, что Русь только в силу собственного развития, только благодаря определенной зрелости своей собственной государственности и культуры могла полноценно воспринять византийский опыт.

Однако об этом еще пойдет речь. Итак, очевидная, осязаемая кристаллизация мощной государственности и высокой культуры, присущая Ярославовой эпохе, вроде бы резко контрастирует с образом Руси столетней давности (то есть, скажем, 930—940-х годов), от которой до нас дошли только не имеющие четкого, вполне определенного смысла археологические материалы и в значительной мере также смутные устные предания, записанные полутора-двумя столетиями позднее, в начале 1110-х годов (или, по крайней мере, во второй половине XI века) в «начальной» русской летописи. Гипотеза о существовании зачатков летописания еще в конце X века остается гипотезой, – и не очень убедительной.

И все же исторические свершения, явленные на Руси к середине XI века, никак не могли возникнуть на пустом месте. Им неизбежно должно было предшествовать достаточно долгое, деятельное и богатое народное бытие, породившее ту, несомненно, громадную историческую энергию, которая обрела не только «предметное», но и поистине монументальное, сохранившееся и до наших дней воплощение в эпоху Ярослава.

Историография и археология за последние десятилетия во многом расширили и углубили представления о жизни Руси до XI века, – в частности, и тем, что подтвердили и конкретизировали немало выдвинутых ранее, но не получивших полного признания воззрений и концепций.

Выше говорилось о несравненной объективности и чуткости исторического мышления Пушкина. Известно, что он внимательнейшим образом изучал и очень высоко ценил «Историю государства Российского» Карамзина. Пушкин рассказывал, как в феврале 1818 года, сразу же после выхода в свет первых восьми карамзинских томов, он «прочел их... с жадностью и со вниманием... Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка – Колумбом».

Но прошло около десяти лет, и 16 сентября 1827 года Пушкин заметил: «удивляюсь, как мог Карамзин написать так сухо первые части своей «Истории», говоря об Игоре, Святославе. Это героический период нашей истории».

Еще через девять лет, 19 октября 1836 года, Пушкин возражает Чаадаеву, который склонен был недооценивать героику ранней русской истории, полемически сопоставляя последнюю с героической «юностью» Западной Европы.

«Это пора великих побуждений, великих свершений, великих страстей у народов... – утверждал в первом своем «Философическом письме» Чаадаев. – Это увлекательная эпоха в истории народов, это их юность... Мы, напротив, не имели ничего подобного... Поры быющей через край деятельности, кипучей игры нравственных сил народа – ничего подобного у нас не было».

Пушкин решительно оспаривает этот «приговор»: «Войны Олега и Святослава... – разве это не та жизнь, полная кипучего брожения и пылкой... деятельности, которой отличается юность всех народов?» И в другом варианте письма Чаадаеву: «Завоевания Олега (Пушкин написал здесь и затем зачеркнул имена Рюрика и Игоря. – В. К.) стоят завоеваний Нормандского Бастарда⁶⁴. Юность России весело прошла в набегах Олега и Святослава... следствием того брожения и той активности, свойственных юности народов, о которых вы говорите».

⁶⁴ Нормандский Бастард – внебрачный сын норманна (то есть в древнерусском словоупотреблении – «варяга») Роберта Дьявола, Вильгельм Завоеватель (1027–1087), ставший в 1066 году королем Англии.

Пушкин в силу обстоятельств (официальное осуждение чаадаевского сочинения) не отправил и даже, видимо, не завершил цитируемое письмо, но известно, что он собирался подкрепить свое понимание сторонним, западноевропейским мнением; сохранилась его запись: «Мнение Шлецера о русской истории – NB. статья Чедаева»⁶⁵. Здесь же Пушкин указал ту страницу из введения к трактату А. Л. Шлецера «Нестор. Русские летописи на древнеславянском языке...» (первый том его вышел в Петербурге в 1809 году в переводе на русский язык), на которой выражено «мнение» германского историка.

Август Людвиг Шлецер (1735–1809) – один из первых серьезных западноевропейских историков Руси, в 1761–1767 годах деятельно работавший в русских архивах. Вернувшись в Германию, он сразу же, в 1767 году, опубликовал работу «Probe russische Annalen» («Опыт о русских летописях»), некоторым положениям коей придавал столь существенное значение, что через тридцать пять лет процитировал их во введении к своему главному труду «Nestor...» (1802). Одно из этих положений и выделил Пушкин в русском издании «Нестора» как многозначительное мнение иностранного историка. Шлецер писал, что начальная история России «чрезвычайно важна по непосредственному своему влиянию на всю прочую, как европейскую, так и азиатскую, древнюю историю»⁶⁶.

Так полагал германский историк, обладавший преимуществом не только стороннего, то есть объективного, но и (это необходимо осознать) первооткрывательского – с точки зрения Запада – и еще не затемненного всякого рода предубеждениями взгляда на историю Руси. Но правильнее будет оставить решать вопрос о важности «непосредственного влияния» русской истории на развитие других стран и Европы, и Азии самим этим странам, то есть их историкам. Хочу подчеркнуть другое: история Руси действительно с самого ее начала была тесно сплетена с историей и соседних, и более или менее отдаленных (как та же Византия) стран и народов. Это сплетение, эта связь наглядно выступает, о чем уже шла речь, в эпоху Ярослава, но она стала существеннейшей реальностью русской истории гораздо раньше, уже в IX веке.

Дошедшие до нас сведения различных источников дают все основания утверждать, что государственность Руси почти с самого своего рождения выходит на широкую мировую арену, на простор тогдашней западноевразийской Ойкумены – от Скандинавии до Багдада и с запада на восток от Испании до Хорезма. И это, без сомнения, определило последующие судьбы Руси, и в частности ту ее величавую державность, которая столь явственно воплотилась в бытии и сознании Ярославовой эпохи.

Когда ближайший сподвижник Ярослава митрополит Иларион говорил об Игоре, Святославе и Владимире, что они «не в худой и неведомой земле владычествовали, но в Русской, что ведома и слышима всеми четырьмя концами Земли», – это было не просто риторическим оборотом, но констатацией реального положения вещей, сложившегося уже в X веке.

Согласно современным представлениям, славянские племена, ставшие основой Руси, к VIII веку расселились на землях, простирающихся от нижнего течения Днепра до Ладожского озера⁶⁷ (оно называлось тогда Великое озеро Нево, а река Нева понималась как своего рода устье этого озера). Существует целый ряд гипотетических концепций, которые по-разному решают вопрос о том, откуда и начиная с какого времени пришли или (есть и такая – ныне, пожалуй, наиболее влиятельная – версия) *возвратились* после долгого отсутствия на эту покрытую лесами, а в южной своей части лесостепную равнину основные насельники Руси.

Однако для изучения нашей темы нет необходимости в освещении этой этнической предистории; достаточно того, что не позже VIII века (с чем, кажется, соглашаются сегодня

⁶⁵ Пушкин А. С. Полное собрание сочинений, т. 12, М., 1949, с. 208.

⁶⁶ Шлецер А. Л. Нестор. русские летописи на древнеславянском языке, сличенные, переведенные и объясненные... Ч. 1, СПб., 1809, с. XXXIV.

⁶⁷ См. итоги изучения этой темы в трактате: Седов В. В. восточные славяне в VI–XIII вв. – М., 1982.

все специалисты) основное население будущего Русского государства разместилось вдоль указанной линии юг – север и осваивало земли к западу и востоку от этой линии.

Главное движение шло по речному пути (по воде или вдоль берегов): Днепр – верхнее течение Западной Двины – Ловать – озеро Ильмень – Волхов – Ладога. На этом, по тогдашним меркам гигантском, намного более чем тысячеверстном (учитывая кривизну рек и волоков) пути возникали древние селения, сравнительно быстро ставшие укрепленными городами, – Канев, Переяславль-Русский, Киев, Вышгород, Чернигов, Любеч, Смоленск, Витебск, Новгород, Ладога (или Невгород) и др. В X веке эта основная дорога восточнославянского расселения предстала как «путь из варяг в греки»; следует отметить, правда, что еще ранее, уже в IX веке, сложился «путь из варяг в арабы», Волжский путь⁶⁸.

Ко времени прихода славян северную часть этой территории населяли финно-угорские племена, срединную – балтские, южную (лесостепные земли) – тюркские и иранские. Однако нет сведений о значительных и острых конфликтах между пришедшими или же вернувшимися сюда славянами и этими племенами, что может иметь основательное «экономическое» объяснение. Славяне были, как это доказано в последнее время, прежде всего земледельцами и – что нераздельно связано с этим главным занятием – скотоводами (см. хотя бы коллективный труд «Очерки русской деревни X–XIII вв.» – М., 1950). Между тем тогдашние финно-угры и балты занимались преимущественно охотой, рыболовством и собиранием природных плодов, а тюрки и иранцы – кочевым скотоводством. И несовпадение жизненно необходимых «экономических» интересов во многом ослабляло возможные столкновения разных племен.

В высшей степени характерно, что *государственность*, складывавшаяся на этой территории, с самого начала была и воспринималась ее создателями как *многонациональная, или, точнее, многоэтническая*. В знаменитом летописном тексте о «призвании варягов» утверждается: «862 год... Сказали Руси (то есть в данном случае «варягам». – В. К.) чужь, словене, кривичи и весь: земля наша велика и обильна, а власти⁶⁹ в ней нет. Приходите княжить и володеть нами»⁷⁰. Не будем пока касаться вопроса о достоверности и конкретном смысле этого предания; заметим только одно: финские племена чужь и весь выступают в нем как совершенно равноправные инициаторы создания государственности (чужь вообще стоит здесь на первом месте!). И пусть даже перед нами легенда; сообщение летописца (в котором, без сомнения, так или иначе сказались общенародные представления) ясно выражает мысль о том, что его страна по самой своей сути – страна многонациональная. И различные племена и народности совместно действуют в ее истории.

В записи под 907 годом в «Повести временных лет» сказано, что князь Олег идет на Царьград, взяв с собою «множество варягов, и словен, и чуди, и кривичей, и мерю (финское племя. – В. К.), и древлян, и радимичей, и полян, и северян...» и т. д. Или в записи под 985 годом: «Пошел Владимир на болгар (речь идет о Волжской Булгарии. – В. К.) в ладьях... а торков (южнорусский тюркский народ. – В. К.) привел берегом на конях». Такого рода факты постоянны и типичны в истории Руси.

Важно добавить к этому, что люди самого разного этнического происхождения не просто участвовали в истории Руси, но и входили в круг наиболее влиятельных лиц государства. Опираясь на дошедшие до нас свидетельства, М. Б. Свердлов писал о «иноязычной знати» Древней Руси: «На то, что не только младшая, но и старшая дружина (то есть немногие наиболее знатные сподвижники князя. – В. К.) в XI–XIII вв. были открытыми социальными группами, в которые входили представители разных народов Восточной Европы, указывают имена... (Георгий

⁶⁸ См. новейшее исследование этой проблемы: Дубов И. в. великий волжский путь. – Л., 1989.

⁶⁹ Традиционный перевод летописного «наряд» словом «порядок» вызывает сомнение: вернее перевести словами «власть» или «правление», ибо далее говорится: «Да пойдете княжить и володеть нами».

⁷⁰ «Повесть временных лет» здесь и далее цитируется в переводе Д. С. Лихачева.

Угрин, Вядюк, Кунуй, Улан, Ан-бал Ясин, Чудин, Туки, Кульмей, Торчин, Шварн, Василий Половчин, Олбырь Шерошевич и другие), причем некоторые из них жили на Руси во втором поколении (Иванко Захарич Козарин, Матвей Шибутович, Юрий Толигневич)... Основой высокого положения этих людей была служба князю»⁷¹.

М. Б. Свердлов исходит из достоверных письменных источников и поэтому говорит о времени начиная с XI века, но присутствие людей различного происхождения в высшей сфере власти имело место с самого начала, с рубежа VIII–IX веков.

Многонациональная государственность Руси, как обоснованно показали новейшие исследования, начала складываться значительно – на целое столетие или около того – раньше, чем полагало большинство дореволюционных историков, постулаты которых тем не менее продолжают иметь хождение до сих пор. Я имею в виду, в частности, что дата призвания варягов (862) – при всех различных толкованиях самого этого летописного текста – считалась и нередко продолжает считаться начальной датой русской государственности в собственном смысле слова; ей предшествуют, так сказать, уже как бы чисто мифические – «Гостомыслы» и «Киевы» (от князя Кия) – времена.

Между тем достоверно известно, например, – согласно «Анналам» франкского епископа и поэта Пруденция (умер в 861 году), – что официальные послы из Северной Руси (о том, что посольство было именно из Северной Руси, пойдет речь ниже) еще в 838 году – то есть за четверть века до даты призвания варягов – прибыли к византийскому императору Феофилу, правившему с 829 по 842 год. И особенно важно отметить, что сам факт столь далекого посольства несомненно подразумевает *достаточно развитую* государственность.

В самое последнее время, в 1970—1980-х годах, целая плеяда плодотворно работающих археологов и историков обосновала убеждение, что первый исток государственности Руси пробыл еще в VIII веке в устье Волхова, в Ладоге⁷².

Этот древнейший (примерно 750-е годы) из известных нам город Руси (до новейшего времени существовало неверное представление о глубокой древности Новгорода, который на деле не старше середины X века – то есть на полтора-два столетия моложе Ладоги⁷³), в котором уже в IX веке была воздвигнута *каменная* крепость (совсем недавно открытая и, из известных нам, первая по времени на Руси), с самого начала стал узлом «широких, евразийского масштаба торговых и культурных связей» («Средневековая Ладога...», с. 4), простиравшихся от западноевропейских земель до арабского Востока, – что прочно удостоверено археологическими исследованиями монет и предметов прикладного искусства. Наконец, в этой Северной Руси, как явствует и из западноевропейского (германского), и из восточных (арабских и персидских) источников, не позднее 830-х годов, а вероятнее всего ранее, существовал правитель, принявший высокий титул кагана (что будет объяснено в дальнейшем).

Но государственность Руси складывалась несколько позже и на юге, в Киеве. Еще сравнительно недавно князь Кий считался, по сути дела, легендарной фигурой, вымышленной для того, чтобы «объяснить» происхождение названия города Киева. Но это соображение явно

⁷¹ Свердлов М. Б. Генеалогия в изучении класса феодалов на Руси XI–XIII вв. – вспомогательные исторические дисциплины. т. XI, Л., 1979, с. 232–233.

⁷² Речь идет о таких исследователях, как О. И. Давидан, И. В. Дубов, А. Н. Кирпичников, Г. С. Лебедев, Д. А. Мачинский, Р. С. Минасян, В. А. Назаренко, Е. Н. Носов, С. Н. Орлов, В. П. Петренко, Е. А. Рябинин и др.; см., например, сборники статей и материалов: Северная Русь и ее соседи в эпоху раннего средневековья. – Л., 1982; Новое в археологии Северо-Запада СССР. – Л., 1985; Средневековая Ладога. Новые археологические открытия и исследования. – Л., 1985; Историко-археологическое изучение Древней Руси. Истоки и основные проблемы. – Л., 1988 и др., а также книги названных исследователей.

⁷³ См., например: Янин В. Л., Колчин Б. А. Итоги и перспективы новгородской археологии. – в кн.: археологическое изучение Новгорода. – М., 1978, с. 5–56. Правда, еще в IX веке существовало поселение, выражаясь современным языком, городского типа на острове вблизи Новгорода, получившее впоследствии название «Рюриково городище». Но это не Новгород (который, вполне вероятно, был наименован «Новым городом» в сравнении с этим, более ранним). во всяком случае, предание о том, что Рюрик в середине IX века основал именно Новгород, на деле возникший значительно позднее, – вымысел новгородских летописцев. См. обо всем этом превосходное исследование: Носов Е. Н. Новгородское (Рюриково) городище. – Л., 1990.

неосновательно, ибо именами их созидателей-князей был назван целый ряд городов – Владимир Волынский, Ярославль, Юрьев (по христианскому имени Ярослава), Владимир Залесский (его основал Владимир Мономах) и т. д. Впрочем, в новейших работах Кий не только был признан реальным лицом, но и резко «удревлен» – помещен – как и основание города Киева – в VI или даже V век! Полная несостоятельность такой датировки показана в статье И. П. Шаскольского «Когда же возник город Киев»⁷⁴.

К сожалению, И. П. Шаскольский не принял во внимание опубликованную еще в 1960 году работу М. Н. Тихомирова «Начало русской историографии», в которой убедительно датировано время правления Кия.

Известно, что хронология истории Руси IX–X веков в начальных летописях вызывает великое множество сомнений. Но в летописной хронологии есть и более надежный пласт – постоянно сопоставляемые с историей Руси даты византийской истории тех времен, которая, вполне понятно, излагалась в имевшихся в распоряжении русских летописцев византийских хрониках (некоторые из них были к XI веку уже переведены на церковно-славянский язык) с гораздо большей хронологической точностью, нежели история Руси (поскольку ее события IX–X вв. были известны летописцам XI – начала XII века только по устным преданиям). Из сопоставления с историей Византии и исходил М. Н. Тихомиров:

«Новгородская I и Устюжская летописи, – писал он, – относили годы жизни Кия к периоду царствования Михаила в Византии, так как первые сведения о Руси, найденные в византийских хрониках, касались царствования Михаила (842–867 гг. – В. К.). Однако такое сопоставление было сделано не очень грамотными компиляторами, в силу чего матерью императора Михаила названа Ирина, а не Феодора». Но, – продолжает М. Н. Тихомиров, – «спутать имена Феодоры и Ирины было не так просто, и можно предположить, что путаница произошла оттого, что именно Ирина упоминалась в первоначальном тексте... К ее времени первоначально приурочивали рассказ об основании Киева... Этим отдаленным временем для летописца было царствование императрицы Ирины, то есть примерно 780–802 гг.»⁷⁵. Добавлю от себя, что императрицы Ирина (правила в 780–802 годах) и Феодора (842–856) могли быть «перепутаны» в особенности потому, что обе славились как «иконопочитательницы», решительно отвергнувшие господствовавшее перед их правлениями в Византии «иконоборчество».

В упомянутой выше статье И. П. Шаскольского доказывается, что археологические исследования позволяют датировать основание Киева (в частности, окружавший древний город глубокий ров на Старокиевской горе) именно концом VIII века (с. 71); город и был, по мысли И. П. Шаскольского, создан «формирующимся южнорусским государственным образованием конца VIII – начала IX в.» (с. 72).

Исходя из этого, начало государственности (а, следовательно, и самой истории) Руси следует датировать рубежом VIII–IX веков, притом истоки ее пробиваются и на севере и на юге Руси. Последующее развитие показывает, что северный исток был, так сказать, сильнее, ибо именно оттуда пришла и прочно утвердилась в Киеве династия Рюриковичей.

В июне 1868 года Тютчев, который великолепно знал историю и вместе с тем обладал уникальным, «вещим» историческим чутьем, писал, проплыв на пароходе по Волхову от Ладоги до озера Ильмень: «Весь этот край, омываемый Волховом, это начало России... Среди этих беспредельных, бескрайних величавых просторов, среди обилия широко разлившихся вод, охватывающих и соединяющих весь этот необъятный край, ощущаешь, что именно здесь – колыбель Исполина...»

В дальнейшем будут так или иначе очерчены этапы истории Древней Руси и, в частности, последовательность основных княжений. Но все же целесообразно наметить предвари-

⁷⁴ В кн.: Культура Средневековой Руси. – Л., 1974, с. 70–72.

⁷⁵ Тихомиров М. Н. Русское летописание. – М., 1979. с. 52, 53.

тельно главные вехи. Правда, сразу же встает вопрос об отсутствии выверенной хронологии, точного знания о времени правления ранних князей. Известный историк А. П. Новосельцев писал недавно, что в истории Руси имеет место «ненадежность летописной хронологии практически до времен Владимира и даже отчасти первых лет его правления. На это неоднократно обращали внимание исследователи, однако из-за ограниченности параллельных материалов серьезных попыток исправить летописную хронологию, по сути дела, не было»⁷⁶.

Уже шла речь о времени правления летописного князя Кия (конец VIII – начало IX века). Известно, что затем в Киеве правили его потомки, и, по-видимому, в середине IX века с севера пришел и стал князем Аскольд (более туманна фигура князя Дира, который был или соправителем Аскольда, или же княжил в другое, хотя и близкое время). Далее, опять-таки с севера, пришел Олег, объединивший Ладожскую и Киевскую государственность.

Что касается Ладоги, то там, как известно из германской хроники того времени, уже в 830-х годах существовало достаточно развитое государство во главе с русским *каганом* (см. об этом ниже), а не позднее середины IX века правил известный всем князь Рюрик, от которого и пришли в Киев Аскольд и затем – согласно летописной дате, в 882 году, – Олег. Образ Олега в летописях явно «раздваивается»: он предстает то как воевода, то как верховный правитель, великий князь; есть в летописях различные даты и обстоятельства смерти Олега (вероятнее, двух людей с одним именем) и т. п. Ко всему этому мы еще вернемся, пока же выдвину гипотезу, что был Олег, правивший в конце IX – начале X века, и другой Олег, чье правление приходится, по-видимому, на 910—930-е годы.

Далее перед нами предстает уже вполне «достоверный» князь Игорь, погибший в конфликте с древлянами в 944 или 945 году и оставивший молодую вдову Ольгу и малолетнего сына Святослава. Правителями становятся и Ольга (скончалась в 969 г.), и – по мере взросления – Святослав, погибший от руки печенегов в 972 году. Затем власть переходит к его старшему сыну Ярополку, а примерно с 980 года – к младшему Владимиру, правившему до своей смерти в 1015 году.

После краткого правления Святополка Ярополчича, вошедшего в историю под прозвищем Окаянного, начинается эпоха Ярослава Владимировича Мудрого (скончался в 1054 году) и его сменявших друг друга сыновей Изяслава, Святослава и Всеволода (последний умер в 1093 году). Затем киевским князем становится сын *старшего* из сыновей Ярослава Мудрого (в чем выражается начавшийся с Ярополка Святославича древнерусский порядок престолонаследия), Святополк Изяславич (1093–1113)⁷⁷, а вслед за ним – сын младшего Ярославича, Всеволода, Владимир Мономах (1113–1125), которому наследуют его старшие сыновья Мстислав (1125–1132) и Ярополк (1132–1139). Младшего же сына Владимира Мономаха, Юрия Долгорукого, «оттесняют» до 1154 года сначала внук Святослава (сына Ярослава Мудрого)

Всеволод Ольгович и сын Мстислава (старшего сына Мономаха) Изяслав. Только после его смерти Юрий стал князем Киевским. Но до этого он более пятидесяти лет княжил на севере, в Ростово-Суздальской земле, и его сын Андрей Боголюбский, избравший в качестве своей резиденции недавно основанный в этой земле город Владимир, после кончины отца, в сущности, переносит туда из Киева столицу Руси, где он и правит с 1157 до 1174 года. Его сменяет во Владимире младший сын Юрия Долгорукого, Всеволод Большое Гнездо (1176–1212); далее правит сын последнего, Юрий, погибший в битве с монголами в 1238 году...

Таковы основные правления первых четырех с половиной столетий истории Руси, в течение которых «центр» перемещался из Ладоги в Киев, а из Киева – во Владимир.

В первые два века так или иначе выделяются фигуры Рюрика, Аскольда, Олега (хотя, по-видимому, под этим именем «скрыты» два человека), Ольги, Святослава, Владимира Святого;

⁷⁶ «Вопросы истории», 1991, № 2–3, с. 5.

⁷⁷ Здесь и далее – годы правления.

в XI – начале XIII века – Ярослав Мудрый, Святослав (Ярославич), Владимир Мономах, Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо (из них Олег, Ольга, Святослав, Владимир Святой, Ярослав, Владимир Мономах и Андрей Боголюбский могут быть причислены к великим историческим деятелям).

Наметив эту историческую перспективу протяженностью в четыреста пятьдесят лет, и, если измерять иначе, в *пятнадцать* человеческих поколений (рамки поколения – 30, максимум 35 лет), вернемся к началу истории Руси.

Возникновение государственности Руси совпало – и это, несомненно, имело для нее огромное значение – с исключительно деятельной и напряженной эпохой в истории всей западной части Евразии. Территорию, на которой на рубеже VIII–IX веков начала складываться Русь, со всех сторон окружали тогда чрезвычайно энергичные и активные исторические силы.

К северо-западу от нее находился словно извергающий человеческую лаву викингов вулкан тогдашней Скандинавии; их походы в Западную Европу начались в 793 году, а в Восточную – еще ранее, не позже 750-х годов⁷⁸.

К западу от Руси в течение 770–800-х годов была создана огромная империя Карла Великого – от Пиренеев до Эльбы и Дуная, от Балтики до Средиземного моря.

К югу, в Византии, правила властная и целеустремленная императрица Ирина, сумевшая в 787 году победить разлагавшее империю иконоборчество (правда, после окончания ее правления оно вновь возобладало до 843 года) и собиравшаяся вступить в брачный союз с Карлом Великим, чтобы восстановить поистине вселенскую Империю (в границах Рима эпохи его расцвета); дворцовый заговор оборвал в 802 году ее начавшие осуществляться замыслы.

К востоку от Руси на рубеже VIII–IX веков достигал своего высшего могущества Хазарский каганат; именно в это время фактический его повелитель каганбек Обадий сделал иудаизм официальной, господствующей религией; после долгих войн было установлено определенное равновесие с сильнейшим южным соседом, Арабским халифатом – где, кстати сказать, правил именно в это время, в 786–809 годах, один из самых великих халифов, Харун ар-Рашид, – и границы Хазарского каганата простерлись от Кавказа до Камы и Оки и от Урала до Крыма.

С этими историческими силами – языческой Скандинавией викингов, христианской Византийской империей и иудаистским Хазарским каганатом (а через них – опосредованно – и с Арабским халифатом) ранняя история Руси самым что ни на есть тесным образом связана, и можно с полным правом утверждать, что русская государственность и культура сформировались в сложнейшем и мощном магнитном поле, создаваемом этими силами, их «пересечением», – поле, в котором и сама Русь развивалась как постоянно возрастающая сила, столь монументально представшая позднее – в эпоху Ярослава.

IX–X столетия – это время самого широкого выхода Руси на тогдашнюю мировую арену, – выхода и в прямом, буквальном смысле слова, ибо в течение этих двух веков десятки тысяч русских людей (это отнюдь не преувеличение) побывали в соседних и более далеких странах в составе войск, посольств, торговых товариществ.

Определенный, хотя и далеко не полный свод известий о «походах» Руси представлен в трактате В. Т. Пашуто (часть трактата написана А. П. Новосельцевым). Ссылаясь на различные источники, историк показывает, что после общеизвестного похода на Константинополь в 860 году Русь вступила в союзнические отношения с Византией, и, скажем, «в 911–912 гг. отряд из 700 русских воинов участвовал в походе византийского флотоводца Имения против арабов на Крит... в 934 г. 7 судов с русскими (415 человек) находились в эскадре из 18 судов патрикия Косьмы, которого император Роман послал в Лангобардию (то есть в Северную Италию. – В. К.), в 935 г... они же в составе эскадры протоспафария Епифана ходили к берегам южной

⁷⁸ См. новейшее исследование проблемы: Лебедев Г. С. Эпоха викингов в Северной Европе. – Л., 1985.

Франции». В 949 г. «император Константин Багрянородный... имел 629 русских... на 9 судах в неудачной экспедиции на Крит»; позже «русское войско участвовало в 960–961 гг. в отвоевании Никифором Фокой о-ва Крита у арабов... В неудачной экспедиции византийцев в 964 г. на о-в Сицилию также участвовало русское войско...» и т. д.

С другой стороны, уже в 860-х годах арабы озабочены «действиями русов в южном Прикаспии», то есть на иранском берегу; в начале 910-х годов большой русский отряд на судах направился (разделившись) и к юго-западному, и к юго-восточному побережью Каспийского моря. Крупные походы Руси сюда же состоялись и в 940-х, и в 980-х годах⁷⁹. И это, конечно, только часть дошедших до нас сведений о «выходе» Руси вовне, на мировую арену, в IX–X веках.

Это время принципиально отличается от позднейшей эпохи, начавшейся при Ярославе Мудром, когда Русь, напротив, явно сосредоточивается на *внутреннем* развитии, перестав постоянно и интенсивно выходить за свои пределы. Более того, всего через столетие после кончины Ярослава Мудрого это нарастающее сосредоточение на внутреннем развитии привело к предельно выразительному итогу: перемещению столицы «центра» Руси в ее, условно говоря, географический центр – во Владимир на Клязьме, отстоящий от Киева на тысячу верст к северо-востоку. Но об этом еще пойдет речь в дальнейших главах книги. Сейчас нам важно установить, что присущие эпохе юности Руси (IX–X столетия) «выходы» за свои пределы в XI веке становятся крайне редкими, а в XII веке, по существу, прекращаются. Очень характерно, например, что всем известный поход Игоря Святославича на половцев в 1185 году, в продолжение которого его войско прошло от тогдашних границ Руси не более чем полторы – две сотни верст, изображается в «Слове о полку Игореве» как далекое путешествие: «Дремлет в поле... храброе гнездо. Далече залетело!» Между тем в IX–X веках русские воины не раз отправлялись в *тысячекилометровые* походы на юг в Византию, на восток, к границам Ирана и Хорезма и т. д.

Дело, конечно, не только в самих походах как таковых. В течение IX–X веков Русь как бы вбирала в себя опыт и энергию всего окружающего ее мира, что, например, рельефно выразилось в вошедшем в «Повесть временных лет» предании о «выборе» русскими веры, выборе из четырех религий – мусульманства, иудаизма, западного христианства и, наконец, восточного, православного христианства.

Есть основания утверждать, что «выход за пределы», столь характерный для Руси IX–X веков, обусловлен и недостаточной еще «обжитостью» своей – своей на грядущее тысячелетие – земли (вспомним, что славянские племена окончательно поселились на Руси, возможно, только в VIII веке и уж никак не ранее VI–VII вв.). Именно это просматривается в летописных сведениях о князе Кие (рубеж VIII–IX веков) и, позднее, о Святославе. Рассказав о хождении Кия к «царю» в Царьград, летописец добавил: «Когда же возвращался, пришел он на Дунай и облюбил место, и срубил городок невеликий, и хотел сесть в нем со своим родом, да не дали ему близживущие; так и доньше называют придунайские жители городище то – Киевец» (как указал, комментируя этот текст, М. Н. Тихомиров, городок Киев (Къйов) продолжал существовать на Дунае еще в XV веке).

Через полтора столетия с лишним, в 968 году, и Святослав «сел княжить» в Переяславце (Малый Преслав) в устье Дуная, а возвратившись в 969 году в Киев, как свидетельствует летопись, заявил: «Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславце... туда стекаются все блага: из Греческой земли – золото, паволоки, вина, различные плоды, из Чехии и Венгрии серебро и кони, из Руси же меха и воск, мед и рабы».

⁷⁹ См.: Пашуто в. т. внешняя политика Древней Руси. – М., 1968, с. 62, 65, 68, 69, 99, 100, 103.

Ясно, что такого рода стремление не могло бы возникнуть даже уже у сына Святослава – Владимира (не говоря уж о внуке – Ярославе), несмотря на то, что князь Владимир побывал и в Скандинавии, и на Каме, и на Северном Кавказе, и в Галиции, и в Крыму.

Но до Владимира Русь находилась как бы в поре *юношеских странствий* – несмотря даже на то, что к тому времени закрепились узловые пункты ее исторического бытия – и Киев, и Ладога, и более поздние Новгород, Смоленск, Ростов, Чернигов и др.

И нельзя не отметить, что мотив дальнего странствия красной нитью проходит через русский эпос, а в отдельных случаях речь идет даже и о поселении в чужой далекой стране. Так, о былинном князе Волхе Всеславьевиче говорится, что он, завоевав «Индийское» царство «тут царем насел». Правда, это именно отдельный мотив; Илья Муромец, например, которому царь – обобщенный образ византийского императора – Константин Боголюбович с великой честью (в отличие от князя Владимира) предлагает остаться в Царьграде в качестве воеводы, решительно отказывается, и...

поехал тут Ильюшенька во Киев-град.

Но тема постоянных дальних походов и путешествий, повторяю, пронизывает былинный эпос, воссоздавая, без сомнения, историческую реальность Руси IX–X веков.

Выше говорилось о Ярославовой Руси, воплотившей себя в сохранившихся отчасти и до наших дней зодчестве и изобразительном искусстве, в *обилии* значительных городских поселений и выдающихся памятниках письменности, – между тем как от предшествующих времен до нас дошли только записанные позднее устные предания, разрозненные иноязычные свидетельства и нуждающиеся в сложной археологической дешифровке остатки материальной культуры. Однако совместная работа историков и археологов доказывает (особенно в последние десятилетия), что IX–X столетия были для Руси периодом исключительно масштабных и энергичных исторических деяний (походов, битв, переселений и т. п.), были истинно *героической* эпохой. В этих деяниях и выковались основы государственности Руси, окончательно сформировавшейся при Ярославе. И вполне основательно было бы даже без тщательного изучения проблемы предположить, что эти два столетия прямо-таки должны были породить и какие-либо подлинно весомые явления культуры, хотя и, по всей вероятности, не опредмеченные ни в письменности, ни в иных «очевидных» воплощениях.

Считаю целесообразным оставить в этой главе моей книги приложенный к ней (именно в этом месте) при *первой* ее (главы) публикации в июльском номере журнала «Наш современник» за 1992 год (см. с. 171) составленный мною некролог о только что ушедшем тогда из жизни замечательном человеке.

Лев Николаевич Гумилев

15 июня 1992 года, не дожив всего нескольких месяцев до своего восьмидесятилетия, скончался Лев Николаевич Гумилев – мыслитель, историк, гражданин.

О каждом ушедшем стоит сказать надгробное слово. Но память о Льве Николаевиче необходима не только и даже не столько ради него; она необходима всем нам, ибо он был человеком редкостного, подлинно героического духа. Ему, сыну расстрелянного в 1921 году русского поэта, трижды – начиная с юных лет – пришлось входить в адские ворота ГУЛАГа. Лишь в возрасте 34 лет он смог окончить университет и только на пятом десятке – отдать себя делу своей жизни. И все же высший героизм его духа выразился не в преодолении тяжких испытаний, но в том, что с его уст никогда не срывались жалобы на судьбу. Лев Николаевич не забывал, что его трагедия – не личная, а всенародная. И он не твердил, подобно многим другим, что страдал «безвинно». Он гордо знал о своей благородной вине перед насильниками и разрушителями России. И, как ни поразительно, основы его мысли об истории сложились именно в ГУЛАГе. А в промежутке между «сроками» он – и это тоже было предметом его гордости – сражался на Великой Отечественной.

Вокруг его книг и статей (публиковавшихся и в «Нашем современнике») идут и будут идти споры – уже хотя бы потому что он, сын Гумилева и Ахматовой, являл собой и ученого, и, пожалуй, в равной мере – поэта. И многое в его трудах стоило бы воспринимать как вдохновенные образы русской и мировой истории, а не как рассудительный анализ ее событий и явлений. Многочисленные ученики и последователи Льва Николаевича (среди них – Дмитрий Балашов, Гелиан Прохоров, Юрий Бородай, Александр Панченко, Александр Шенников) чаще всего идут своими собственными путями, но все же именно у Гумилева они учатся самому главному.

Это главное – полная истинного мужества и отваги духовная воля, обладая которой человек, познающий историю, включается в само творчество истории, вносит в нее свой собственный вклад. Лев Николаевич Гумилев – выдающийся деятель не только нашей исторической мысли, но и самой нашей истории. И Россия его не забудет!

РЕДКОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА «НАШ СОВРЕМЕННИК»

Специальный экскурс: русская былина (старина)

Одна из задач этой книги – доказать, что именно в IX–X веках сложился *русский героический эпос* – богатырские былины. В современных обобщающих работах о них, в сущности, господствует иное представление: начало сложения былин датируют чаще всего XI, в крайнем случае самым концом X века, а в значительной степени и более поздними временами – XII–XIV или даже XV–XVI столетиями. Вот выражающие наиболее распространенное мнение энциклопедические датировки: былины «отразили историческую действительность главным образом XI–XVI вв.» (БСЭ, т. 4. М., 1971, с. 181), «былины сложены главным образом в XI–XVI вв.» (Советский энциклопедический словарь. М., 1983, с. 184) и т. п.

Нет сомнения, что эпос, веками существовавший в русле устной традиции, вбирал в себя те или иные – в том числе, возможно, крупные и значимые – элементы и в XI–XVI веках, и даже позднее, вплоть до новейшего времени; это совершенно ясно видно в различных деталях дошедших до нас былинных записей XVIII–XX веков. Однако героический эпос как *жанр*, как определенный феномен культуры сложился на Руси все же, как я буду стремиться с помощью многообразных аргументов доказать, к XI веку, и позднее он предстал уже как явление *прошедших времен*, как «наследие», а не как активно развивающийся компонент современной культуры. В сфере словесно-музыкального творчества с середины XI века господствовали уже не богатырские былины, а существенно иные явления.

Это ясно видно, в частности, из характеристики творчества Бояна в созданном в конце XII века «Слове о полку Игореве», где, кстати сказать, и сам Боян, чья деятельность приходится на вторую половину XI века, назван «песнотворцем старого времени». И автор «Слова», человек конца XII века, намерен создать свою, как он сам ее определил, повесть-песнь «не по замыслу Бояню» – то есть, как сказали бы теперь, иным «способом», иным «методом».

Но ведь и «замышление» самого Бояна едва ли правильно сблизать с былинным, ибо, согласно «Слову», «песни» Бояна – это песни «старему Ярославу, храброму Мстиславу, иже зареза Редедю пред полки касожскими, красному Романови Святославличу», то есть песни, главные герои которых – знаменитые русские князья XI века, а отнюдь не некие (по крайней мере, «некие» для нас) богатыри, только немногих из коих со всякими натяжками пытаются отождествить с историческими лицами; притом главный из былинных героев – Илья Муромец – вообще не имеет реальных прототипов (если не считать чисто гипотетических соотношений Ильи с князем или воеводой рубежа IX–X веков Олегом).

Естественно рождается представление, что до «Слова о полку Игореве» протекли по меньшей мере *два* существенно разных *периода* «песнотворчества» – эпоха доярославовых былин, где действуют герои, не принадлежащие к кругу исторических лиц (кроме объединяющей фигуры князя Владимира), и время уже вполне «исторических», а кроме того явно не лишенных лиризма песен Бояна, родившегося, по-видимому, при Ярославе. И второй период песнотворчества в XI веке сменяет, оттесняет, заслоняет первый, то есть собственно эпический.

Этот вывод может быть истолкован как не соответствующий самой сути раннего развития культуры. Ведь широко распространено представление (хотя оно не только не доказано, но даже никогда по-настоящему не анализировалось), что на *ранних* стадиях в культуре безусловно господствует традиция, устойчивый обычай, канон. И это вроде бы верно. Так, например, очень характерно требование, записанное в XVI веке, но надо думать, действовавшее значительно раньше: «Писати живописцем иконы с древних образов... как писал Ондрей Рублев... а от своего замышления ни что ж претворяют»⁸⁰.

⁸⁰ Забелин И. Е. Материалы для истории русской иконописи – «временник Императорского Московского общества исто-

Итак, любое «свое» – то есть, в частности, новое – «замышление» безоговорочно отвергается. Однако речь идет в этом тексте не вообще о культуре, а о культуре церковной, вернее, о культе, воплощенном в иконе. А собственно «литературное» «Слово о полку Игореве», напротив, в самом своем зачине объявляет о себе, что оно будет создаваться по иному «замышлению», чем у великого песнотворца предшествующей эпохи. Из этого естественно сделать вывод, что и былинный эпос, созданный в определенный период, позднее уже не создавался, а только в той или иной мере изменялся и «дополнялся».

Разумеется, это пока только постановка проблемы, которая нуждается в многостороннем изучении и обосновании. Сейчас важно отметить одно: едва ли верно, несмотря на свою распространенность, представление, согласно которому культура, и в том числе словесность, на ранних стадиях своей истории развивается-де крайне медленно (в сравнении с позднейшими этапами ее истории), ибо заведомо подчинена строгим и неизблемым канонам. Сопоставление «песнотворчества» конца XI века и «повести-песни» конца XII века, данное в «Слове о полку Игореве», ясно свидетельствует, что существенное развитие и преобразование совершалось и в те времена – и достаточно быстро.

Уяснение того факта, что художественной эпохе, породившей «Слово о полку Игореве», предшествовали по меньшей мере две иных эпохи словесного творчества – «Боянова» и, еще ранее, «былинная» – это, повторяю, только приступ к проблеме.

Важно оговорить, что нас не должен сбить с толку сам этот давно уже общепринятый термин «былина». Как известно, в том кругу людей, в котором сохранились до XIX–XX веков былины, они обычно назывались не «былинами», а «старинами», то есть порождениями давно ушедших времен. И сам фольклористский термин «былина», по всей вероятности, заимствован из зачина «Слова о полку Игореве» («начати же ся той песни по былинам сего времени»), где он означает повествование не о древнем, а о действительно совершившемся («быль»). Правда, некоторые исследователи настаивали на собственно народном происхождении жанрового названия «былина»⁸¹, но их доводы недостаточно убедительны.

И уже никак невозможно согласиться с мнением фольклориста А. И. Никифорова, которое четко выразилось в самом названии его часто упоминаемой работы: «Слово о полку Игореве» – былина XII века» (Л., 1941). Совершенно ясно, что «Слово» по своей художественной природе коренным образом отличается от былинного эпоса, от «старин».

Вот хотя бы одно, но, как представляется, весьма показательное отличие. В былине о Волхе Всеславьевиче, которая дошла до нас в частности, в ранней записи – середины XVIII века, – «оборотничество» героя изображено, несомненно, как вполне «реальное» явление:

Он обернется ясным соколом,
Полетел он далече на сине море,
А бьет он гусей, белых лебедей...
Он обернется ясным соколом,
Полетел он ко царству Индейскому.
И будет он во царстве Индейском,
И сел он на полаты царские,
Ко тому царю Индейскому,
И на то окошечко косящето...
Сидючи на окошке косящето,

рии и древностей российских». 1850, кн. 7-я, с. 4.

⁸¹ См. об этом: Астахова А. М. вопрос о термине «былина». – в ее книге: Былины. Итоги и проблемы изучения. – М. – Л., 1966, с. 21–27.

Он те-та да речи повыслушал,
Он обвернулся горностаем,
Бегал по подвалам, по погребам,
По тем по высоким теремам,
У тугих луков тетивки накусывал,
У каленых стрел железцы повынимал...

А вот князь Игорь в «Слове» бежит из плена:

Игорь князь поскочи горностаем к тростию,
И белым гоголем на воду,
Возвержися на борз комонь,
И скочи с него босым волком,
И потече к лугу Донца,
И полете соколом под мглами,
Избивая гуси и лебеди...

Внешнее различие – в отсутствии во втором тексте слова «обвернулся», благодаря чему творительный падеж (горностаем, гоголем, волком, соколом) предстает, по сути дела, в сравнительном значении («поскакал, как горностаем...»). Вполне естественно будет заключить, что изображение тайного и по-своему чудесного избавления Игоря от плена опиралось на давнюю традицию воссоздания в слове подобных событий – возможно, даже еще и былинную. Но вместе с тем нет сомнения, что ни создатель «Слова», ни те, кто его воспринимал, уже никоим образом не подразумевали действительного «оборотничества» князя Игоря.

И, следовательно, то, что было в свое время воссозданием являвшейся объектом веры мифотворческой *реальности*, стало в «Слове о полку Игореве» только определенным видом, формой *художественности*. Но это значит, что в период между созданием былинного эпоса и «Слова» совершился коренной, кардинальный переворот в сфере творчества: элементы мифа, бывшие когда-то *содержанием* поэзии, превратились, по сути дела, в ее *форму* (в широком смысле – включая так называемую «внутреннюю форму», форму содержательную). Это в самом деле глубочайшее преобразование, свидетельствующее, что былины создавались на принципиально иной стадии истории словесного искусства, словесного творчества, нежели повествование конца XII века об Игоре.

Правда, здесь возможно одно готовое возражение, исходящее из того, что былины-де и творились, и существовали в совсем иной – в социальном и культурном отношении – человеческой среде, нежели «Слово о полку Игореве»; творец последнего принадлежал к наиболее просвещенным верхам древнерусского общества, а былины, мол, создавались и воспринимались в «простонародной», прежде всего *крестьянской* среде, с ее архаическим сознанием, чем и объясняется, в частности, мифотворческое содержание былинного эпоса.

Однако такое возражение неизбежно подразумевает согласие с тем вульгарно-социологическим толкованием (ставшим господствующим в 1930-х годах, но складывавшемся и ранее), которое объявило былины продуктом творчества трудового и «угнетаемого» класса, противостоящего правящим «феодальным классам»⁸². Этот подход к делу, продиктованный чисто идеологическими соображениями, а во многом и прямым диктатом властвующей идеологии, едва ли имеет серьезную обоснованность (хотя он достаточно широко распространен еще и в наше время). Так, былины при этом подходе волей-неволей оказываются, с социальной точки зрения, резко противопоставленными собственно литературным явлениям Древней Руси (в

⁸² См. характеристику этого толкования в уже упомянутой обобщающей книге: Астахова А. М. Былины... с. 50–61.

частности, тому же «Слову о полку Игореве»), о которых доподлинно известно, что они были созданы людьми, принадлежавшими так или иначе к общественным «верхам» того времени.

Но есть здесь и прямая фактическая неурядица, выражающаяся, например, в том, что в былинах, сложившихся будто бы в крестьянской среде, очень точно и полно воссоздан *воинский* быт, в частности, боевое оружие и снаряжение. Это убедительно доказано, например, в опирающейся на итоги углубленного археологического изучения древнерусского воинского быта работе этнографов Р. С. Липец и М. Г. Рабиновича «К вопросу о времени сложения былин (Вооружение богатырей)»⁸³. Эти авторитетные исследователи продемонстрировали, что в былинах содержится вполне точное (и, между прочим, «любовное») изображение всего комплекса древнерусского оружия и снаряжения, а также соблюдена полная верность всей воинской терминологии. И едва ли можно спорить с тем, что эта истинность и скрупулезность в воссоздании воинского быта свидетельствует о сложении былинного эпоса – как и «Слова о полку Игореве» – в дружинной, а вовсе не крестьянской среде, где не могло быть такого детального и «интимного» знания всех реалий вооружения. Правда, дело идет о дружинной среде на совершенно разных исторических этапах – X и конец XII века.

Да и главная цель упомянутой работы, как ясно уже из ее названия («К вопросу о времени сложения былин»), заключалась в установлении на основе анализа вооружения былинных героев исторического *периода* формирования русского эпоса.

«Во многих былинах, – отмечают Р. С. Липец и М. Г. Рабинович, – подробно описано, как именно вооружены богатыри князя Владимира (далее перечисляются все части вооружения со ссылками на былинные тексты. – В. К.)... такой же комплект вооружения упомянут и в повествовании летописи о том, как в 968 году киевский воевода Претич поменялся оружием с печенежским князем... в былинах описываются именно те брони, какие были в употреблении в X в. – кольчатые и дощатые. Ни разу не встречено упоминания о более сложных видах брони, вошедших в употребление позже...

Мы не останавливаемся в данной статье на обрядах погребения дружинников, что также отражено в былинах... – пишут Р. С. Липец и М. Г. Рабинович. – Отметим лишь, что погребение богатыря Михаила Потыка в полном вооружении, с конем в сбруе, под насыпным курганом, – т. е. по обряду, сохранившемуся в Древней Руси не позднее X–XI вв., – является лишним доказательством...» (указ. изд., с. 32, 33, 41); реалья эта доказывает как то, что былины складывались в воинской, дружинной среде (едва ли крестьяне могли столь точно знать обряд воинских похорон), так и то, что их формирование относится ко времени не позднее XI века.

Один из авторов цитируемой работы, Р. С. Липец, в своей позднейшей книге «Эпос и Древняя Русь» доказывала, что «к концу X в. уже существовала богатая эпическая традиция, что и при отце Владимира – Святославе (как это видно из летописных сказаний о нем), и еще при Игоре и Олеге, а возможно и в IX в., эпические сказания и песни заняли свое место в культурной жизни Руси. В том же виде, как былины дошли до нас, они выкристаллизовывались в «эпоху Владимира»... Это заставляет предполагать, что былины начали формироваться несколько раньше, когда в IX–X вв. шло образование государственности, с которой эпос в классической форме неразрывно связан... Русский героический эпос, – оговаривала Р. С. Липец, – создавался, конечно, на основе тысячелетнего развития устного народного творчества, черпая оттуда и сюжеты в их общей форме, и художественные образы и приемы, но *как жанр* он смог сформироваться только к концу I тысячелетия н. э. Основная методологическая опасность при изучении былин заключается как раз в подмене анализа их как жанра анализом архаических прасюжетов, использованных и модернизированных эпосом... и традиционных элементов поэтики»⁸⁴.

⁸³ «Советская этнография», 1960, № 4, с. 30–43.

⁸⁴ Липец Р. С. Эпос и Древняя Русь. – М., 1969, с. 9–10, 12. (разрядка моя. – В. К.).

Итак, исследовательница предостерегает и от «удревнения» русского эпоса; растворения его в доисторических прообразах (что присуще различным вариантам «мифологической школы» в изучении эпоса), и от необоснованного отнесения его к зрелой исторической эпохе, к периоду после времени Владимира или даже после времени Ярослава. Обе эти ложные тенденции, увы, характерны для многих современных работ о былинах.

Вторая тенденция, свойственная разным проявлениям «исторической школы, выражается нередко в не выдерживающих, как говорится, критики поверхностных сопоставлениях реалий былинного эпоса (события или даже отдельные детали событий, разного рода названия и имена и т. п.) с аналогичными или просто «похожими» реалиями летописей. Разумеется, те или иные переклички былин и наиболее ранних летописных сведений отнюдь не исключены. Но подобные сопоставления, превращенные в чуть ли не главный «метод» исследования, напоминают, прошу прощения за резкость, известный анекдот о человеке, обронившем ночью деньги на темной части улицы, но ищущем их под фонарем, поскольку, мол, здесь светлее... Летопись выступает в большинстве таких «сопоставлений» именно в качестве своего рода «фонаря». При этом «подходящие» летописные сведения берутся из самых разных хронологических периодов – от XI до XVI или даже XVII века, а затем уже на их основе «датируется» возникновение былин.

Как уже говорилось, существование русского эпоса в устной традиции могло приводить и даже неизбежно приводило к тому, что в былинные тексты внедрялись самые разные элементы самых различных эпох – вплоть до XX века. Р. С. Липец и М. Г. Рабинович в цитированной выше работе пишут: «Проникает в былины изредка и огнестрельное оружие... но это явно поздняя словарная замена. Лук упоминается вместе с ружьями... Традиционная стрела, упомянутая в тексте, в следующем стихе заменяется привычной для сказителя пулей... Однако, – подводят очень важный итог исследователи, – самое искажение, забвение не только названий, но и функций отдельных предметов оружия и доспехов в былинах говорит одревности вхождения в эпос этого комплекса вооружения» (указ. изд., с. 39, 40; разрядка моя. – В. К.).

Последнее соображение весьма и весьма существенно: внедрение в былины «несуразных» поздних или даже очень поздних реалий не только не подрывает представления о глубокой древности их возникновения, но, напротив, подкрепляет его. Раз сказители повествуют о вещах (а также, конечно, и событиях, лицах и т. п.), истинная цель которых давным-давно и полностью забыта, значит, исполняемое ими произведение действительно создано в древние времена.

В общем и целом представление о том, что былины сложились в своей основе еще до Ярославовой эпохи, то есть не позднее начала XI века, уже сравнительно давно утверждено во всех действительно основательных работах, затрагивающих эту проблему. Так, Д. С. Лихачев еще сорок лет назад убежденно писал, что даже «в современных нам записях былин мы находим такие элементы, которые могли сложиться только в X–XI вв.»⁸⁵. Этим недвусмысленно сказано, что произведения, которые мы называем былинами, несмотря на все возможные позднейшие изменения и «добавления», сложились именно в столь древнее время. Правда, в той же самой книге Д. С. Лихачева выступает и своего рода «компромиссный» тезис: речь идет о своеобразном «эпическом времени», воплощенном в былинах, и о том, что любая былина стремилась воссоздать это «время».

«Когда бы они (былины. – В. К.) ни слагались, они переносят действие в Киев ко двору князя Владимира» (с. 53). Из этого положения легко сделать вывод, что те или иные «киевские» былины создавались в разные времена (скажем, в XII–XIII, XIV–XV или даже XVI–XVII веках), однако их творцы каждый раз стремились воссоздать в них именно Владимиров мир. Но характерно, что буквально на предыдущей странице Д. С. Лихачев, в сущности, сам

⁸⁵ Лихачев Д. С. возникновение русской литературы. – М. – Л., 1952, с. 48.

себя опровергает, справедливо замечая: «Социальный уклад раннефеодального государства X–XI вв. не мог быть восстановлен сказителями XVII–XX вв.» (с. 52). И если учесть, что, как доказано в цитированных только что работах этнографов, уклад этот воссоздан в былинах достаточно полно и верно, нельзя не согласиться, что сказители XVII и позднейших веков никак не могли его «восстановить»: ведь для этого была необходима сложнейшая исследовательская работа археологов, историков, этнографов и т. п.!

Д. С. Лихачев говорит о сказителях XVII–XX веков, поскольку более ранними записями мы не располагаем. Но невозможно спорить о том, что и в более ранние времена – в XIII–XVI, да и уже в XII веке – сказители не могли «восстановить» уклад X века. То, что в неизвестных нам, но, без сомнения, продолжавших передаваться в тогдашние времена текстах соответствовало этому древнему укладу, было, без сомнения, не «восстановлено», а просто сохранено в восходивших ко времени не позже начала XI века текстах.

Словом, тезис о том, что создававшиеся в *позднейшие* времена былины «переносили» действие во Владимиров Киев, продиктован, надо думать, стремлением как-то примирить концепцию древнейшего происхождения былин с достаточно широко распространенным мнением, согласно которому былины будто бы создавались и в значительно более поздние времена.

Один из авторитетных современных исследователей богатырского эпоса Б. Н. Путилов убедительно писал еще два десятилетия назад: «Давно установлено, что северные сказители (сохранившие в своей памяти былины вплоть до XX века. – В. К.) не внесли ничего нового в состав русского эпоса... Северорусский фольклор имел в своем составе жанры, продолжавшие продуктивно развиваться (например, причитания, предания, исторические песни), и жанры, в основном закончившие продуктивное развитие... К этим последним принадлежали и былины... Под давлением фактов начинает разрушаться стена между древнерусской («первоначальной») и северорусской былиной... Мы приближаемся... к уяснению той, не новой, в сущности, истины, что и по своему содержанию, и по жанровой структуре, и по характеру историзма северорусская былина не является чем-то принципиально, качественно новым, иным, и что древнерусская былина в своем возникновении и развитии оставалась *былиной*»⁸⁶.

Вместе с тем нельзя не упомянуть здесь, что Б. Н. Путилов принадлежит к той школе исследователей русского эпоса (ее родоначальником был видный филолог А. П. Скафтымов⁸⁷), которая решительно противопоставляла себя исторической школе. Новую школу уместно назвать эстетической, или, что будет точнее, ориентирующейся на художественность, искусство. Она, в сущности, отвела на самый задний план проблему конкретных исторических корней эпоса.

Б. Н. Путилов пишет: «Ни одно имя былинного богатыря не возводимо к реально-историческому имени. Попытки идентифицировать богатырей с летописными персонажами на основании совпадения или близости имен оказались несостоятельными. И вопрос этот в серьезном научном плане может считаться исчерпанным»⁸⁸.

Сказано это с излишней полемической заостренностью (ведь едва ли следует, например, сомневаться в том, что былинного князя Владимира вполне уместно «идентифицировать» с летописным князем Владимиром). Но в принципе Б. Н. Путилов прав: «попытки идентифицировать богатырей с летописными персонажами» в большинстве случаев в самом деле несостоятельны.

И все же встает вопрос: являются ли эти «попытки» *единственно возможным* путем изучения исторических корней героического эпоса? Отказавшись искать «реально-историческую»

⁸⁶ Путилов Б. Н. Северорусская былина в ее отношении к древнерусскому эпосу. – в кн.: Фольклор и этнография русского Севера. Л., 1973, с. 174, 180.

⁸⁷ См.: Скафтымов А. П. Поэтика и генезис былин. Очерки. – Москва – Саратов, 1924.

⁸⁸ Путилов Б. Н. Героический эпос и действительность. – Л., 1988, с. 115.

основу былин в летописях, Б. Н. Путилов без каких-либо оговорок утверждает, что «идеалы эпоса получали конкретное художественное выражение в вымышленных (разрядка моя. – В. К.) формах (вымышленные сюжеты, ситуации, герои)... эпос никаких отдельных исторических событий не отражает, и герои его ни к каким историческим прототипам не восходят»⁸⁹. С этой точки зрения Б. Н. Путилов категорически противопоставляет жанр былины и позднейший жанр *исторической песни*, где ситуации и герои исходят из реальных событий и реальных лиц, являющихся, в частности, и персонажами летописей – таких, как посол хана Золотой Орды Узбека Щелкан (Чолхан), боярин, шурина Ивана Грозного Никита Романович или казачий атаман Ермак Тимофеевич. Кстати сказать, в исторических песнях немало всякого рода «вымыслов» (так, например, песенный Никита Романович казнит Малюту Скуратова, а Ермак объявлен покорителем Казани и племянником Стеньки Разина), но все же у них есть вполне реальная историческая «основа».

Можно с полным правом констатировать, что в былинах, сложившихся намного раньше, чем исторические песни, или, вернее, в совсем иную эпоху истории – и, в частности, истории культуры, – воплотились принципиально иные способы создания художественного мира, и самый вымысел имеет в них совсем иную природу (к данной проблеме мы еще возвратимся). Но это еще вовсе не означает, что былины «не восходят» ни к каким реальным событиям и лицам.

Как это ни парадоксально, Б. Н. Путилов, «отрицая» историческую школу изучения былин, оказался, в сущности, в полной зависимости от господствующего в ней метода «отыскания» исторической основы былин почти исключительно в летописях. Раз, мол, в *летописях* нельзя найти прототипы эпоса – значит, его сюжеты и персонажи целиком вымышлены.

Однако время, которое породило былины, то есть период IX–X веков, отражено в составленных никак не ранее середины XI века (гипотезы о более раннем летописании очень шаткие) летописях и скудно, и обрывочно. Так, например, согласно полностью достоверным арабским источникам, Русь в 910-х и 940-х годах совершила весьма значительные дальние походы в Закавказье, но русские летописи не говорят об этом ни слова (хотя очень подробно рассказывают о столкновениях Киева в тех же 940-х годах с соседними древлянами). Вдумчивый исследователь начальной эпохи взаимоотношений Руси и Востока, отмечая тот факт, что «Повесть временных лет», в сущности, «ничего не знает» об этих взаимоотношениях, сделал следующий вывод: «Возможно, правы те исследователи, скажем, А. А. Шахматов, что усматривали в начальной русской летописи намеренное *замалчивание* общения Руси с Востоком. В том убеждают арабские хроники. Оказывается, русские отряды... сражались по всему Востоку... Сирия и Малая Азия содрогались от их поступи»⁹⁰.

Исходя из этого, отнюдь не будет преувеличением утверждать, что события и лица, которые явились реальной исторической основой былинного эпоса, попросту *не нашли отражения в летописях*. Представим себе, что во времена, когда действовали упомянутые выше ханский посол Щелкан-Чолхан, боярин Никита Романович и Ермак, летопись не велась бы прямо и непосредственно (то есть *в те же годы*). В таком случае Б. Н. Путилов не имел бы возможности узнать что-либо о реальных прототипах этих героев исторических песен и, очевидно, счел бы их столь же вымышленными, как и героев былин...

Словом, мнение Б. Н. Путилова о том, что отсутствие летописных сведений об исторических событиях и лицах, воссозданных в былинах, означает вымышленность этих событий и лиц, по меньшей мере нелогично. Поскольку эпос складывался в IX–X веках, всецело вероятно, что в составляемые много позже летописи не вошли сведения о воссозданных в былинах событиях и лицах.

⁸⁹ Путилов Б. Н. русский историко-песенный фольклор XIII–XVI веков. – М. – Л., 1960, с. 25.

⁹⁰ Лелеков Л. А. Искусство Древней Руси и восток. – М., 1978, с. 104.

Впрочем, «датировка» рождения эпоса еще должна быть достаточно весомо аргументирована. Правда, вполне уместно и без доказательств, априорно заявить, что почти у каждого народа, создавшего и сохранившего эпос, он предстает как *первая*, наиболее ранняя (хотя и неопределимо существенная) стадия истории литературы, или, вернее, как говорили в прошлом и начале нынешнего века, *словесности*, искусства слова. Курсы истории основных литератур и Запада и Востока совершенно правомерно начинаются, открываются разделом о национальном эпосе. Однако при освещении истории русской литературы, русского искусства слова лишь в редких случаях эпос рассматривается как ее необходимый *исходный* этап.

По видимому, это во многом обусловлено именно той «неопределенностью» в представлениях о времени рождения русского эпоса, о которой шла речь выше. В уже цитированной монографии Р. С. Липец «Эпос и Древняя Русь» совершенно справедливо сказано, что «без учета... конкретной исторической обстановки в былинах становится легко произвольно перебрасывать их то на тысячелетие назад, то в XVII в.», – хотя тщательное исследование, проведенное, в частности, самой Р. С. Липец, доказывает, что русский героический эпос сформировался как вполне определенный феномен «к концу I тысячелетия н. э.» (с. 12) – то есть ко времени Владимира Святославича. Однако и сегодня те или иные – многочисленные – авторы «привязывают» былины и к воинскому соперничеству с половцами во второй половине XI – начале XIII века, и к позднему монгольскому нашествию, и к походам времени Ивана Грозного, и даже к Смутному времени и еще более поздним воинским событиям. В результате как бы и возникает основание не воспринимать эпос в качестве «первоначальной» стадии развития, предшествующей литературе в узком, собственном смысле.

Но в дальнейшем еще будет развернут целый ряд доказательств древнейшего (до XI века) происхождения русского эпоса. Сейчас важно сказать о том, что верное понимание «исходного» значения эпоса для русской литературы особенно ясно выразилось у некоторых не отечественных, а зарубежных ее историков (в этой книге уже заходила речь о том, что «сторонние наблюдатели» нередко правильнее оценивают явления русской культуры, нежели сами ее носители).

Виднейший германский Русист Рейнгольд Траутманн (1883–1951) говорил еще в 1920-х годах в своем сочинении «Русский героический эпос»:

«Тот, кто попробует в качестве ли исследователя или любителя литературы проникнуть в духовную жизнь русского народа, будет ослеплен исключительным явлением русской литературы XIX века. В необычайном блеске лежит это море русской литературы перед нашими глазами». Однако, отмечал Р. Траутманн, «остаются сейчас в темноте причины и сама возможность такого замечательного проявления русской души... Явление, которое вводит нас в глубь самой сущности русской народности и русского искусства, – это русская, великорусская героическая поэзия, цвет русского народного творчества»⁹¹.

Далее Р. Траутманн ссылается на изученные им богатейшие собрания образцов героического эпоса – сборники Кирши Данилова, Рыбникова, Гильфердинга, Маркова, Григорьева и Ончукова, замечая, что «всюду заметен острый взгляд русского человека на вещи мира и на их сущность... Русский человек работает простыми приемами, и неизнеженное чувство требует крепких ударов языка... этой потребности мощных *Betonen* (акцентов. – В. К.) – многое из этого находит дальнейшее продолжение в повествовательной манере близкого к народу Льва Толстого...» (с. 37).

Наконец, Р. Траутманн говорит о нераздельном соединении *беспредельной* свободы и в то же время «безжалостной» *необходимости* в художественном мире былин, утверждая, что «из одинаковой природы с былиной вытекает бесформенность русских рассказов XIX века,

⁹¹ Художественный фольклор. вып. II–III, М., 1927, с. 35–36.

которые тем более хаотичны, чем более русским является их творец»⁹². В этом соединении вроде бы несовместимых начал германский исследователь усматривает своеобразие «русского духа, постоянно вращавшегося между двумя полюсами... Таким образом, то, что дает русской поэзии вечную печать многозначительности, а именно острое напряжение наблюдения над безжалостной действительностью и стремление к освобождению от нее, – заключает Рейнгольд Траутманн, – это в зародыше уже было свойственно русскому былинному творчеству. Пройдя через богатую культурную насыщенность, это отречение от вещей сего мира дало свой последний цвет в великом жизненном подвиге Гоголя, Достоевского и Толстого» (с. 37, 38, 39).

Такое осознание глубокого единства и генетической связи древнего русского эпоса и романа XIX века – этого своего рода эквивалента эпоса в новое время – к великому сожалению, вовсе не характерно для отечественной филологии. И, как уже говорилось, утверждение и, далее, исследование былинного эпоса в качестве необходимого *исходного* этапа всей тысячелетней истории русской литературы, русского искусства слова встречается в отечественной филологии весьма редко, особенно в последнее время. Между тем поистине необходимо вслушаться хотя бы в этот сторонний, германский голос, устанавливающий органическую и чрезвычайно существенную связь между древним эпосом и усвоенной всем человечеством русской литературой XIX века.

Эта связь, несомненно, имела бы громадное значение даже и в том случае, если бы она была никак не выявлена и не осознана в XIX веке; ведь культурное творчество не проходит бесследно: сложнейшими и нередко трудно уследимыми путями оно неизбежно воздействует на позднейшее развитие культуры. Однако былинный эпос был *воспринят* русской культурой, и в том числе литературой XIX века самым прямым и непосредственным образом. В 1804 и 1818 годах вышли издания записанного еще в середине XVIII века для одного из представителей славного купеческого рода, П. А. Демидова, сборника Кириши Данилова, где содержались превосходные образцы былин. И вот П. П. Вяземский (сын поэта), постоянно общавшийся с Пушкиным в 1830-х годах, вспоминал впоследствии:

«С жадностью слушал я высказываемое Пушкиным своим друзьям мнение о прелести и значении богатырских сказок (так обозначали тогда русский эпос⁹³; термин «былина» начал входить в употребление лишь после издания в 1836–1837 годах сборника И. П. Сахарова «Сказания русского народа о семейной жизни своих предков». – В. К.) и звучности народного русского стиха. Тут же я услышал, что Пушкин обратил свое внимание на народное сокровище, коего только часть сохранилась в сборнике Кириши Данилова, что имеется много чудных поэтических песен, доселе не изданных, и что дело находится в надежных руках Киреевского...»

А в 1847 году Александр Герцен, размышляя о подлинно русской природе той культуры, которая развивалась со времени Петра («разве... герои 1812... не были русские?...» и т. д.), с полным основанием утверждал, что в его время «народная поэзия вырастает из песен Кириши Данилова в Пушкина...».

Что касается Толстого (о котором особенно веско говорил Рейнгольд Траутманн), он в ответ на вопрос историка литературы В. Ф. Лазурского, «как же он провел бы курс литературы», совершенно определенно ответил, что «начал бы он с былин, которые очень любит и на которых надолго бы остановился».

Таким образом, в представлении Толстого русская литература начиналась именно с былинного эпоса, и в этом отношении его убеждение совпадало с концепцией Р. Траутманна (стоит отметить, что цитированная запись из дневника В. Ф. Лазурского была впервые опубликована лишь в 1939 году, и Р. Траутманн не мог ее знать). Но еще существеннее другое.

⁹² Проблеме западных толкований русской «бесформенности» и «хаотичности» посвящена моя статья «Недостаток или своеобразие?» в кн.: Вадим Кожин. Судьба России: вчера, сегодня, завтра. – М., 1990, с. 221–246.

⁹³ Пушкин, как ясно из известного «Словаря языка Пушкина», еще использовал слово «былина» только как синоним слова «быль».

Р. Траутманн, как мы видели, по существу, «возводил» толстовское искусство к былинному, заведомо не зная о том, что Толстой сразу после окончания «Войны и мира», в начале 1870 года, задумал роман, главными героями которого должны были стать девять богатырей (Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович, Михайло Потык, Дюк Степанович и др.), перенесенные в современную русскую жизнь⁹⁴. Для этого Толстой внимательнейшим образом изучает тексты былин, опубликованные в сборниках Кириши Данилова, Петра Киреевского, Рыбникова (Гильфердинг тогда только собирался ехать в Олонецкую губернию за былинами).

Это был, пожалуй, несколько искусственный и едва ли могущий обрести полноценное воплощение замысел (его неосуществимость отметил и сам Толстой и не пошел дальше самых беглых набросков), но нельзя усомниться в глубокой значительности самого этого устремления: в нем, я полагаю, выразилось возникшее в творческом духе Толстого сознание своей органической связи – при всех кардинальных различиях – с древним эпосом, то есть как раз той связи, о которой говорил в 1926 году Рейнгольд Траутманн.

А между тем в историю, или, вернее будет сказать, в историософию русской литературы до сих пор не вошла с должной ясностью мысль об исходном и неопределимо существенном для судеб русской литературы в ее целом значении былинного эпоса.

Разумеется, «связь» русского эпоса и сложившегося в столь отдаленном от него будущем русского романа никак не может быть сколько-нибудь очевидной, прямолинейной, «непосредственной». Для ее выявления необходимы очень сложные и, если угодно, неожиданные движения мысли. Прекрасный образец такого мыслительного хода дал Пришвин, который писал в 1921 году: «...» Обломов». В этом романе внутренне прославляется русская лень и внешне она же порицается... Никакая «положительная» деятельность в России не может выдержать критики Обломова: его покой таит в себе запрос на высшую ценность, на такую деятельность, из-за которой стоило бы лишиться покоя... Иначе и не может быть в стране, где всякая деятельность, направленная на улучшение своего существования, сопровождается *чувством неправоты*, и только деятельность, в которой личное совершенно *сливается* с делом для других, может быть противопоставлена обломовскому покою (несравненная по своей точности и глубине мысль о русском менталитете! – В. К.). В романе есть только чисто внешнее касание *огромного русского факта*, и потому только роман стал знаменит.

Антипод Обломова не Штольц, а максималист, с которым Обломов действительно мог бы дружить, спорить по существу и как бы сливаться временами, как слито это в Илье Муромце: сидел, сидел и вдруг пошел, да как пошел!»⁹⁵

Хотя Илья Обломов, в отличие от Ильи Муромца, так никуда и не «пошел», все же в романе постоянно возникает мотив подобного преобразования – пусть для него и было бы потребно чудо (которое в былине совершается!). Ильей Ильичем то и дело овладевает стремление «ринуться на поприще жизни и лететь по нему на всех парусах ума и воли... Вот-вот стремление осуществится, обратится в подвиг... и тогда, Господи!..»

Юрий Лоциц в своей известной книге о Гончарове отметил, что «аналогия, проведенная в романе между богатырем, который тридцать лет сиднем присидел в своей избе, и Ильей Ильичем, тоже достаточно прозрачна»⁹⁶.

Если стремиться к точности, следует сказать, что Обломов не столько «сидел», сколько «лежал»; в первой же фразе романа читаем: «...Лежал утром в постели, на своей квартире, Илья Ильич Обломе. Это был человек лет тридцати двух-трех». И несколькими абзацами ниже: «Лежанье у Ильи Ильича... было нормальным состоянием». Однако имеются былинныя записи, в которых и Илья Муромец

⁹⁴ См. заметки толстого к этому ненаписанному им роману в его Полном собрании сочинений, т. 90, М., 1938, с. 109–110.

⁹⁵ Пришвин М. М. Собрание сочинений в восьми томах, т. 8, М., 1986, с. 135–136.

⁹⁶ Лоциц Юрий. Гончаров. – М., 1977, с. 173–174.

Тридцать лет на печке лежал...

Но еще более примечательно другое. И. А. Гончаров, как известно, родился и провел первые десять лет жизни (1812–1822) в Симбирской губернии. И когда в его «Обломове» говорится об Илюше: «Няня... повествует ему о подвигах наших Ахиллов и Улиссов, об удали Ильи Муромца...», – в этом, очевидно, запечатлелось реальное воспоминание Гончарова о своем детстве. Ибо вскоре после переселения будущего писателя в Москву братья Языковы записывают в этой самой Симбирской губернии несколько вариантов былины об «исцелении» Ильи Муромца:

Кто бы нам сказал про старое,
Про старое, про бывалое,
Про того ли Илью про Муромца,
Илья Муромец, сын Иванович,
Он в сиднях сидел тридцать три года...

В подавляющем большинстве записей этой былины срок «сидения» (или «лежания») Ильи ровно тридцать лет. Но в *симбирских* записях мы находим сакраментальное число 33. И не откликнулось ли это в самом начале гончаровского романа, где о возрасте героя сказано – «человек тридцати двух-трех лет от роду»? Символическое «33» было бы здесь, в прозаическом повествовании, не очень уместно; это число для эпоса. Но, пожалуй, писатель (скорее всего, бессознательно) вспомнил здесь слышанную в детстве былинку...

Так в нескольких соответствиях обнаруживается подспудная связь древнего эпоса и одного из «главных» русских романов XIX века, – а тем самым, в конечном счете, определенное единство самой истории...

Здесь целесообразно сделать одно, так сказать, общеметодологическое отступление, которое несколько прервет уже наметившийся ход рассуждения, но зато, надеюсь, придаст ему большую теоретичность и обобщенность. Уже заходила речь о том, что для полноты и серьезности исследования богатырского эпоса необходимо рассматривать его прежде всего как целое, как определенный конкретно-исторический жанр, основная природа которого гораздо, даже неизмеримо важнее, чем особенности отдельных произведений и тем более отдельных их элементов и деталей.

Следует сказать и о том, что вообще любой сложившийся в то или иное время в русской (и, конечно, во всякой иной) литературе жанр имеет принципиально более существенный смысл и значение, нежели отдельные его проявления (глубокое теоретическое обоснование такого понимания проблемы жанра дано в трудах М. М. Бахтина). И это всецело относится, например, к *русскому роману* XIX века, о котором так восхищенно говорил Р. Траутманн. Ныне, всего лишь через столетие после расцвета этого жанра, явившегося одним из высочайших достижений общечеловеческой культуры, нам еще очень трудно или даже невозможно размышлять о нем «вообще». Мы все еще и мыслим, и даже живем в *диалоге* с творческими *личностями* Достоевского и Толстого, Лермонтова и Гончарова, Лескова и Тургенева.

Но, питая надежду на дальнейшее развитие человеческой культуры, мы можем и должны думать и о том далеком, ином времени, когда русский роман XIX века будет являться в восприятии наших потомков как некая завершенная в себе, сомкнутая в более или менее однородном единстве реальность, включающая в себя как *единое целое* богатейший мир творений от «Евгения Онегина» до «Братьев Карамазовых», или, если продлить линию дальше, – до «Тихого Дона» и «Мастера и Маргариты».

Об этом важно было сказать потому, что для истинного понимания судьбы отечественного искусства слова надо, в частности, суметь существенно сопоставить, соизмерить русский героический эпос IX–X веков и русский роман XIX–XX веков – как два, быть может, равно-великих жанра русской, да и мировой литературы.

Сложность этой задачи состоит, между прочим, в том, что если роман XIX–XX веков является и сегодня перед нами как несравненно многообразное и словно бы не поддающееся никакой «систематизации» (не говоря уж о «схематизации») явление, то древний героический эпос, напротив, требует от нас внимательно вглядываться в его художественное разнообразие и богатство. Решительный шаг в этом направлении сделан в трактате В. Я. Проппа «Русский героический эпос» (1955, второе издание – 1958), где раскрыто, – пусть и в очень многом не бесспорно, – исключительно сложное и многозначное художественное содержание былин, в «общем мнении» (неким камертоном для которого является, скажем, знаменитая картина Виктора Васнецова «Три богатыря») представляющееся нередко прямолинейным или даже «элементарным».

Правда, едва ли не каждый грамотный человек чувствует несравненное величие образов богатырей и самого мира русского эпоса. Но все же В. Я. Пропп справедливо сказал в первых же фразах своего трактата:

«Русский героический эпос – одно из важнейших созданий русского народного гения. Между тем он мало известен в широких читательских кругах. До настоящего времени об эпосе нет такой книги, которая в простой и общедоступной форме вводила бы читателя в эту область национальной культуры... Цель автора состоит в том, чтобы дать в руки любому читателю... такую книгу, которая прежде всего просто ознакомила бы его с русским эпосом, которая раскрыла бы перед ним всю глубину художественных красот эпоса...»⁹⁷

Книга в самом деле так или иначе выполняет эту роль, но она, к сожалению, не смогла (и из-за весьма большого объема – более 35 авт. л., и из-за слишком малого тиража – 15 тыс. экз.) стать достоянием значительного числа читателей. И здесь приходится лишь высказать уверенное предположение, что, изучив трактат В. Я. Проппа, любой читатель осознает: при всей своей монументальной скульптурности мир былинного эпоса – это полновесный мир живого бытия и сознания, сотканный из глубоких противоречий и тончайших подчас оттенков человеческих взаимоотношений. И когда Толстой думал о произведении, призванном «перенести» фигуры древних богатырей в современную ему русскую жизнь, он, конечно же, ясно видел это живое богатство эпического мира.

И германский Русист, утверждавший, что русский героический эпос представляет собой то необходимое поэтическое зерно, то ядро, из которого через тысячелетие естественно мог вырасти поразивший мир русский роман, без сомнения, всецело прав.

Своего рода «отставание» в понимании и оценке роли героического эпоса для русской литературы во многом обусловлено и тем еще, что эпос этот был записан лишь в XVIII–XIX веках с голоса народных певцов и чаще всего предстает в наших глазах как чисто «фольклорное» явление, находящееся вроде бы за пределами литературы в собственном смысле слова, – в специфическом словесно-мелодическом бытии. Между тем записи целого ряда западноевропейских эпосов, сделанные в XII–XIII веках или еще ранее, воспринимаются как явления собственно *литературные*, «законно» открывающие историю того или иного национального искусства слова. Но это, казалось бы, очевидное и существенное «отличие» русского эпоса на самом деле далеко не столь уж бесспорно.

Так, давно уже сложилось убеждение, что мелодика в русских былинах, в отличие от мелодики «настоящих» песен, имеет прежде всего и главным образом *мнемоническое* значение, то есть призвана обеспечить сохранность текста в памяти его исполнителей и, кроме того,

⁹⁷ Пропп В. Я. русский героический эпос. – М., 1958, с. 3.

отчетливо «выделить» эпическое слово из обычной повседневной речи. Как писал один из исследователей еще в XIX веке, «эпический материал не так тесно связан с напевами, как лирический», и исполнение былин – это, по сути дела, не пение, а «мерная декламация»⁹⁸.

Авторитетнейшая исследовательница эпоса А. М. Астахова доказывала, что «напев» былины с «текстом, в противоположность песне, органически не был связан и в сознании исполнителя жил и живет самостоятельной жизнью. Этим и объясняется, что многие сказители, певшие былины, могли сказать текст «пословесно», не разрушая его ритмической структуры... В области же песни мы очень часто сталкиваемся даже у мастера, хорошо знающего песню, с затруднением абстрагировать текст от мелодии. Сказанное не исключает, однако, того, что напев всегда являлся средством сохранения былинной традиции и что его утрата легко могла привести – и во многих случаях приводила – к разложению былины...» А. М. Астахова ссылается еще на исследователя мелодики былин Ф. А. Рубцова, который на основе тщательного специального изучения сделал вывод, что в былинном эпосе «напевы служат лишь формой декламации»⁹⁹.

Таким образом, былина не является, строго говоря, *песней*, то есть собственно словесно-музыкальным явлением; напев для нее – это, в сущности, способ ее сохранения, «консервации» – в известном смысле подобный письменности.

Естественно встает вопрос о смысле и причинах очень поздней письменной фиксации русского эпоса (в сущности, лишь с XVIII века). Ведь, скажем, французский, английский и германский эпосы нашли воплощение в письменности еще в XII–XIII веках, а отчасти даже и еще ранее – в IX–X веках. Главная причина здесь, как представляется, в принципиально ином статусе письменности в средневековой Западной Европе в сравнении с Русью. Западно-европейская цивилизация выросла на прочном и мощном фундаменте древнеримской; несмотря на то, что «варварские» племена, сокрушившие античную Римскую империю, в течение долгого времени не могли (да и не «стремились») действительно усвоить ее *культуру*, самое тело этой культуры – то, что вернее всего будет назвать *цивилизацией* – продолжило свое существование без какого-либо перерыва. Это ясно доказано, например, в работах замечательной исследовательницы О. А. Добиаш-Рождественской (1874–1939)¹⁰⁰.

И в этом отношении необходимо видеть глубочайшее различие между Западом и Русью, которая не имела под собой такого фундамента предшествующей цивилизации: письменность была «завезена» на Русь из иного цивилизованного мира и поначалу использовалась почти исключительно Церковью, которая не могла ценить сложившийся ранее эпос; нельзя не сказать и о том, что письменность была в своей основе церковно-славянской, а не собственно русской, между тем как эпос, без сомнения, создавался на живом древнерусском языке.

Дело, конечно, не только в письменности; целесообразно, поскольку уж об этом зашла речь, поставить проблему, к коей еще придется возвращаться: едва ли не самое существенное своеобразие Руси, России среди основных стран Европы и Азии определяется тем громадным по своему значению обстоятельством, что она – в отличие от Англии, Франции, Германии, а также и от Индии, Китая, Ирана – страна, если можно так выразиться, принципиально *молодая*, не имеющая за плечами свершавшейся *на той же самой земле* высокоразвитой тысячелетней «предыстории», которая была *историей* в полном смысле этого слова. Племена, населявшие ту территорию, на которой начали развиваться русская государственность и культура, не только не создали высокоразвитую цивилизацию, но и были, без сомнения, менее «цивилизрованными», чем ставшие ядром новой страны славянские племена.

⁹⁸ Ляцкий Евг. Сказитель Иван Трофимович Рябинин и его былины. – М., 1895, с. 27.

⁹⁹ Астахова А. М. Цит. соч., с. 164, 165.

¹⁰⁰ См.: Добиаш-рождественская О. а. Культура западноевропейского Средневековья. М., 1987; эта женщина, между прочим, явилась прообразом героини романа а. И. Солженицына «Октябрь шестнадцатого» Ольды Андозерской (см. «Наш современник» за 1990 год).

Как уже говорилось, Русь на первых этапах своего бытия самым активным образом вбирала в себя опыт и энергию окружающего мира; но нельзя не сознавать коренного различия между усвоением приходящих извне культурных уроков и опорой на нарастившую веками и тысячелетиями почву «туземной» цивилизации. В свете этого вполне понятно, почему западноевропейские эпосы были записаны на полтысячелетия ранее (или даже еще раньше), нежели русский.

Стоит сразу же сказать и о том, что эту «молодость» цивилизации на Руси следует понять именно как *своеобразие*, а вовсе не только (хотя слишком часто вопрос решается именно в таком плане) как «негативное» качество ее судьбы. Своеобразие само по себе отнюдь не является «оценочной» категорией; оно предполагает, говоря просто и коротко, и недостатки, и преимущества (в сравнении с другими своеобразными явлениями).

Это можно увидеть, в частности, и в судьбе русского эпоса. С одной стороны, позднее, слишком позднее письменное закрепление его образцов неизбежно означало искажение и затемнение их первоначального, исконного облика. Каждое поколение, передававшее дальше из уст в уста былины, вносило в них те или иные новшества, а также искажения и неясности (ибо что-то уже полностью забывалось). А поскольку со времени формирования русского эпоса (к XI веку) до его широкой и полноценной записи (в 1860–1870 годах) сменилось около тридцати человеческих поколений, позднейшие «наслоения» и потери, конечно, не могли не быть значительными.

Но в то же время есть все основания утверждать, что и записи западноевропейского эпоса, сделанные в X–XIII веках, имели свои «недостатки». Один из них, очевидный, заключается в том, что записи той далекой поры ставили перед собой как раз задачу «улучшить», «усовершенствовать» фиксируемые ими древние «подлинники»; это выражалось, в частности, в стремлении создать из имеющихся эпических сказаний целые *поэмы, эпопеи*, подобные «Песне о Нибелунгах» и «Песне о Роланде».

Между тем В. Я. Пропп убедительно показал, что «эпос любого народа всегда состоит только из разрозненных, отдельных песен. Эти песни обладают внутренней цельностью и до некоторой степени внешней объединяемостью... эпос обладает не внешней целостностью, а внутренним единством, единством образов героев, одинаковых для всех песен, единством стиля и, главное, – единством национально-идейного содержания... Но это внутреннее единство не то же самое, что внешняя целостность, замкнутость, законченность. Подлинный эпос всегда состоит из разрозненных песен, которые народом не объединяются, но представляют собой цельность. Эпопея же внешне едина, но внутренне мозаична... Эпос, как мы видели, целостен по существу и разрознен по форме своего выражения»¹⁰¹.

Русские былины, ждавшие своей записи несколько столетий, не объединились в эпопею (хотя отдельные попытки в этом направлении известны – например, «составная» былина «Три поездки Ильи Муромца»). Таким образом, долгая передача эпоса в устной традиции имеет и свое преимущество перед теми или иными стародавними записями, ибо в определенных отношениях она вернее сохраняла изначальную природу эпоса.

Тем не менее наша историко-литературная наука, которая, обращаясь к изучению развития западноевропейских литератур, начинает, как правило, с эпоса, рассматривая его в качестве исходной основы всей последующей истории данной литературы, при обращении к русскому искусству слова только в очень редких случаях кладет в его начало национальный эпос. И это представляется мне ничем не оправданным изъятием и истории, и историософии – или, если выразиться более прозаически, «теоретической истории», либо «исторической теории» – отечественной литературы.

¹⁰¹ Пропп В. Я. Фольклор и действительность. Избранные статьи. М., 1976, с. 311, 312, 313.

Осознанию и утверждению богатырского эпоса в качестве неотъемлемой *начальной* стадии истории русского искусства слова не должна препятствовать и мелодическая сторона былин, в которых, как доказывалось выше, напев являл собой прежде всего мнемоническое средство, способ сохранения словесной ткани; исполнение былины – это, строго говоря, не «пение» в собственном смысле, а напевная форма декламации (как отмечалось, сказители могли обходиться и без напева). Поэтому, в отличие от собственно песенных жанров, былины представляют собой прежде всего и главным образом *искусство слова*, лишь «упрочняющее» себя напевом.

Выше уже были предложены некоторые аргументы в пользу того представления, что былинный эпос сложился к XI веку, то есть ранее дошедших до нас собственно литературных произведений (таких, как «Слово о законе и Благодати» митрополита Илариона, «Повесть временных лет», созданные Нестором жития Бориса и Глеба и Феодосия Печерского и др.)

Следует подчеркнуть, что речь идет об эпосе как целостном явлении (хотя и состоящем из отдельных былин), как вполне определенном *жанре*. Влиятельная историческая школа в изучении эпоса (как в прошлом веке, так и в наше время) чаще всего имеет в виду скорее *отдельные* былины (или даже их элементы), чем эпос в целом. Если выразиться резко, эта школа нередко, по сути дела, «за деревьями не видит леса».

Нет сомнения, что в былины проникали «реалии», относящиеся к самым разным временам и различным событиям; можно допустить также, что те или иные былины возникали в силу каких-либо причин позднее или даже значительно позднее эпохи рождения эпоса как таковой. Но для понимания существа дела необходимо прежде всего изучить и понять русский эпос в его целом как порождение, как плод *определенного* исторического периода.

Едва ли будет преувеличением утверждать, что две наиболее влиятельные школы изучения эпоса, мифологическая и историческая (оба эти направления в тех или иных своих тенденциях наличествуют в работах о былинах и поныне) в значительной мере игнорировали собственную суть русского эпоса: мифологическую школу более всего интересовала, так сказать, его *предыстория* – те образы и сюжеты, которые уходят корнями в наиболее архаическое, догосударственное сознание народа, – а историческую школу, напротив, то, что можно назвать *постисторией* эпоса – вовлечение в него (нередко, между прочим, мнимое)¹⁰² событий, имен, названий, которые отражены также и в летописях, и в других позднейших (в сравнении с эпосом) источниках.

Историческую школу, начавшую свое развитие в 1860-х годах и занявшую господствующее положение в «былиноведении» в 1890-е годы, многократно подвергали критике за то, что она с помощью всякого рода произвольных толкований и натяжек пытается связать те или иные былины с известными из других словесных памятников событиями и лицами различных эпох. В данном случае важно подчеркнуть, что, обращаясь к сведениям из летописей и иных источников XI и последующих столетий, представители исторической школы волей-неволей перемещали былины в более поздние времена – в период борьбы с половцами (последняя треть XI века – начало XIII века), или монголами (XIII–XV вв.), или даже во времена Ивана Грозного и Смутного времени.

Правда, один из последних крупных представителей этой школы (которая, кстати сказать, в 1930-х годах подверглась идеологическому разгрому за «теорию аристократического происхождения» былин), ученик В. Ф. Миллера – Б. М. Соколов в конце жизни решительно высказал следующее убеждение: «... как ни велики отголоски¹⁰³ в дошедших до нас воинских былинах боевых событий XII–XIII вв. из эпохи татарской и половецкой, все же *основное сло-*

¹⁰² Речь идет о «похожих», могущих быть с помощью различных натяжек отождествленными деталями былин и летописей.

¹⁰³ Еще раз отмечу, что эти отголоски, вполне возможно, мнимые: дело идет, скорее всего, только о сходстве событий, имен, поступков, имеющихся в былинах и, с другой стороны в летописях.

жение былин и образование эпического цикла вокруг г. Киева и кн. Владимира нужно отнести по всей справедливости к еще более *ранней* эпохе и связать с деятельностью великого князя Владимира Святославича, его ближайших предков и непосредственных потомков»¹⁰⁴.

Однако, несмотря на высокий авторитет этого ученого (как и его брата и единомышленника Ю. М. Соколова), некоторые позднейшие исследователи исторической школы, выступившие в 1950—1980-х годах, продолжали прочно связывать эпос с событиями конца XI века (прежде всего – борьбой с половцами) и дальнейших столетий и тем самым так или иначе относить их рождение к более поздней, нежели в действительности, эпохе.

Собственно «историческая» ценность эпоса состоит прежде всего в том, что он непосредственно запечатлел реальность IX–X веков, между тем как летопись начала создаваться едва ли ранее середины XI века. Но вместо того чтобы опереться на этот древнейший «источник», его как бы заставляют «дублировать» летопись...

Итак, высказано несколько соображений, которые побуждают или даже заставляют относить рождение русского героического эпоса к IX–X векам (истинно «героический» характер именно этого времени; явное принципиальное отличие искусства песнотворца XI века Бояна от былин как более ранней стадии словесности; вооружение богатырей, совпадающее с тем самым вооружением, которое известно по наиболее древним летописным сведениям и археологическим исследованиям материальной культуры, существовавшей ранее XI века).

Теперь необходимо напомнить уже приведенные (в другой связи) уверенные, опирающиеся на убеждения ряда предшественников слова Б. Н. Путилова о том, что «северные сказители не внесли ничего нового в состав русского эпоса... северорусская былина не является чем-то... новым, иным» – это та же «древнерусская былина». И теперь мы обратимся к истории «сохранения» эпоса – от X до XX века.

В изучении этой проблемы в последнее время были сделаны настоящие *открытия*, которые, помимо прочего, связаны и с обоснованием верной «датировки» сложения русского эпоса. Особенно важно, что дело идет не о собственно литературоведческих и фольклористических, но *историографических*, а также этнографических открытиях, выяснивших ту конкретную *реальность* жизни Руси, в которой совершалась судьба русского эпоса.

Это, во-первых, исследование С. И. Дмитриевой «Географическое распространение русских былин» (1975), которое исходит из того бесспорного факта, что основной массив былинного эпоса сохранился в одном определенном регионе русского Севера, так называемого *Поморья* (термин известен с XIV века), – от Онежского озера и Белого моря до Печоры. Конечно, сам по себе этот факт был общеизвестен давно, но С. И. Дмитриева, основываясь на нем, сумела достоверно доказать, что эпос имеет, во-первых, древнейшее (не позже XI века) происхождение и, во-вторых, что само его широкое бытование на всей или по крайней мере основной территории Руси завершилось весьма рано и сохранилось по-настоящему только в Поморье.

С. И. Дмитриева пишет, что «сопоставление былинного ареала с показаниями письменных источников, антропологических, этнографических и диалектологических данных позволяет утверждать, что распространение былин на русском Севере можно связывать только с новгородскими (это не вполне верно, о чем будет сказано ниже. – В. К.) переселенцами. В областях, заселенных из Ростово-Суздальской земли, былинная традиция отсутствует... что... в свою очередь позволяет сделать вывод, что населению Ростово-Суздальской земли, во всяком случае ко времени усиленного переселения оттуда (XIV–XV вв.), былевой эпос не был известен»¹⁰⁵.

¹⁰⁴ Соколов Б. М. русский фольклор. вып. 1, М., 1929, с. 62.

¹⁰⁵ Дмитриева С. И. Географическое распространение русских былин по материалам конца XIX – начала XX в. – М., 1975, с. 41. Книга опирается на целый ряд более ранних работ (В. Ф. Миллера, А. В. Маркова, Н. Е. Ончукова, С. Ф. Платонова, А. Н. Насонова, Р. С. Липец, М. В. Витова и др.), но поднимает отдельные наблюдения и выводы на уровень существенного обобщения.

Вывод этот многосторонне аргументирован в исследовании СИ. Дмитриевой; в частности, она показывает, что если даже селение выходцев с юга расположено в ближайшем соседстве с селением выходцев с запада, «новгородцев», в первом былин нет, их не принесли с собой и даже не усвоили от соседей. Характерна, например, ссылка С. И. Дмитриевой на статью знаменитого собирателя былин А. В. Маркова, который установил, что «былины поют на Терском берегу (одна из местностей Поморья. – В. К.) везде, кроме с. Поноя». «Это мне показалось загадочным, – пишет он, – но потом дело случайно разъяснилось... крестьянин мне сообщил, что предки русского населения Поноя переселились из «Москвы», то есть из центральной России. Московские выходцы... даже не научились старицам» (с. 49).

Опираясь на такие и многие иные факты, исследовательница заключает, что «к XIV–XV вв. былин не было на всей территории Руси, кроме Новгородской земли» (с. 93), вернее (о чем еще пойдет речь), северо-восточной части этой земли – Поморья. Но XIV–XV века – это только полностью достоверная дата; по-видимому, былины сходят со сцены еще значительно раньше. С. И. Дмитриева ссылается, например, на убеждение известного историка Б. А. Рыбакова, много занимавшегося проблемой возникновения былинного эпоса: «Б. А. Рыбаков в своей последней работе по эпосу... относит большинство былин к трем последним десятилетиям X века. Середину XII–XIII в. он рассматривает как время угасания былинного жанра» (с. 80). Что же касается датировки формирования эпоса, С. И. Дмитриева подводит итог так: «Связь... эпических традиций с ранними потоками новгородских переселенцев на нижнюю Двину (XI–XII вв.) дает основание отнести сложение основного ядра богатырского эпоса ко времени, предшествовавшему этому переселению» (с. 82), то есть времени до XI века.

Итак, начав проникновение в Поморье не позднее XI века, эпос будет сохраняться там до XX века, между тем как на основной территории Руси не позже чем с XII века идет процесс его «угасания».

Перейдем теперь к другой много открывающей работе – исследованию Т. А. Бернштам «Русская народная культура Поморья в XIX – начале XX в.» (Л., 1983); ей предшествовала выдвинувшая некоторые основные понятия книга того же автора «Поморья. Формирование группы и система хозяйства» (Л., 1978).

Ставя вопрос о корнях народной культуры Поморья, Т. А. Бернштам весьма существенно корректирует концепцию С. И. Дмитриевой: «Отводя Новгороду безусловно значительное место, – пишет она, – мы тем не менее утверждаем, что начальный этап в освоении Севера – X–XI вв. ... можно уверенно называть и общерусским, поскольку в нем в качестве самостоятельных компонентов принимали участие жители Южной Руси – Киева и «Русской земли»¹⁰⁶, собственно, и олицетворявшие общерусские интересы...»¹⁰⁷

Речь идет о том, что освоение Поморья первоначально шло вовсе не из Новгорода (возникшего, как отмечалось, сравнительно поздно), но из *Ладоги* – города в устье Волхова, который уже в IX веке стал северным форпостом Киева, его своего рода дальним «филиалом». Выше говорилось о Ладоге как древнейшем (возможно, с середины VIII века) городе Руси, в котором, в частности, Олег, придя в конце IX века из Киева, где он правил, воздвиг первую на Руси *каменную* крепость¹⁰⁸; Новгород в это время еще не существовал, хотя уже имелось небольшое поселение на расположенном рядом с ним острове (оно получило впоследствии название «Рюриково городище»). Видимо именно в Ладоге (Невогороде) провел свои юные годы Святослав, и вообще с конца IX до последней четверти XI века Ладога принадлежала прямо и непосредственно Киеву, а не Новгороду.

¹⁰⁶ Это понятие развернуто и исследовано в ставшей уже классической книге: Насонов А. Н. «Русская земля» и образование территории древнерусского государства. – М., 1951.

¹⁰⁷ Бернштам Т. А. русская народная культура Поморья в XIX – начале XX в. – Л., 1983, с. 6.

¹⁰⁸ См., напр., раздел «Укрепление Олега вешего» в книге: Кирпичников А. Н. Каменные крепости Новгородской земли. – Л., 1984, с. 28–42.

Т. А. Бернштам обоснованно утверждает в своей книге, что наиболее древние из известных нам русские поселения в Поморье «отмечают пути не столько новгородского, сколько ладожского освоения Севера» (исследовательница ссылается здесь, в частности, на ряд первооткрывательских работ филолога В. Я. Дерягина).

Давно – уже со времен А. Н. Веселовского – доказано и общепризнано, что основной массив русского героического эпоса сложился в южной, собственно Киевской Руси. Это можно подтвердить, в частности, типичной *пространственной* характеристикой действия, развертывающегося в героических былинах: богатыри совершают свои подвиги, как правило, в «чистом поле», простирающемся от Киева к «синему морю». Ясно, что дело идет именно и только о причерноморской степи, но необходимо осознать, что это не просто территориальная, но вместе с тем и *временная* характеристика, ибо русские постоянно ходили к Черному морю (оно даже звалось тогда «Русским») лишь в IX–X веках; в XI веке выход к морю связан почти исключительно только с Тмутараканью, где до начала XII века был центр дальнего русского княжества, а затем даже и само устремление к южному морю надолго, на два-три столетия, прекратилось... Поэтому движение через «чистое поле» к «синему морю» – это, если воспользоваться термином М. М. Бахтина, основной былинный *хронотоп*, выражающий единство не только места действия, но и определенного времени, определенного исторического периода.

Однако вернемся к проблеме былинного Поморья. С. И. Дмитриева, утвердив ряд очень важных положений о судьбе русского эпоса, напрасно связала его именно и только с Новгородом (в ее книге сказано, например, что «известную нам былинную традицию можно рассматривать как новгородскую интерпретацию русского эпоса» – с. 91). Не исключено, что и в Новгороде были в той или иной мере известны пришедшие с юга, из Киева, героические былины. Однако в Поморье былины проникали прежде всего из Ладоги, которая имела постоянную прямую связь с Киевом, откуда приходили дружинники и другие люди княжеского окружения, принося с собой былины. Из Новгорода проникли в Поморье главным образом уже собственно новгородские сказания о Василии Буслаеве и Садко (сложившиеся намного позднее киевских), а не героические южнорусские былины.

Т. А. Бернштам говорит, в частности, о том, что, даже попадая в Новгород, южнорусские былины «безусловно испытывали воздействие иного общественно-политического и социально-культурного характера в оппозиционном Киеву Новгороде... Обособление Новгорода... тормозило развитие там ряда общерусских тенденций... вызвало появление специфически новгородских сюжетов и мотивов в общем пласте героических преданий («Садко», «Василий Буслаев»), возможно, за счет сокращения или изменения древнерусского героического репертуара» (с. 203, 204).

Необходимо подчеркнуть, что собственно новгородское овладение Поморьем (и его освоение) обозначило собой переход к совершенно новой эпохе истории Руси, которая именуется обычно эпохой «феодальной раздробленности». При Ярославе Мудром и некоторое время после его кончины (1054) известное единство Руси сохранялось, но затем достаточно быстро происходит обособление отдельных княжеств и земель, в том числе и Новгородской Земли. В частности, Ладога, которая, несмотря на свою тысячекилометровую отдаленность от Киева, была с ним нераздельно связана, не позднее 80-х годов XI века переходит в подчинение Новгорода, становится городом Новгородской земли¹⁰⁹.

И былины, пришедшие через Ладогу в Поморье, сохраняются там не как новгородский вклад в местную культуру, но как наследие уже не *существующей* единой Руси.

Любопытно, что С. И. Дмитриева в новой своей книге – «Фольклор и народное искусство русских Европейского Севера» (1988) – по сути дела, в той или иной мере «пересматри-

¹⁰⁹ См. об этом, напр.: Мачинский Д. А. Мачинская А. Д. Северная Русь. русский Север и Старая Ладога в VIII–XI вв. – в кн.: Культура русского Севера. Л., 1988, с. 56.

вает» свою концепцию *новгородского* происхождения поморского фонда былин. Характеризуя быт и прикладное искусство наиболее богатыми былинами, занимающего в этом отношении, по ее словам, «первое место среди уездов России» (с. 56) района Поморья – Мезени (местность вдоль реки, текущей между Северной Двиной и Печорой), исследовательница показывает, что «линия... связей культуры русских Мезени отклоняется к югу, в Поднепровье» (с. 228); далее приводится ряд примеров близости или даже тождества мезенских обрядов с украинскими (то есть первоначально древнекиевскими).

И в прикладном искусстве Мезени выступает на первый план именно то, что, по словам С. И. Дмитриевой, «считается наиболее характерным для южнорусского населения» (с. 229). Так, именно «с южнорусскими областями связаны свастические (то есть в виде индоевропейской свастики. – В. К.) элементы орнамента, дожившие до наших дней в изделиях прикладного искусства Мезени – вязаных варежках, носках, тканых поясах и т. п.» (с. 230). Словом, ясно обнаруживается «направление культурных связей русского населения Мезени, объединяющих его с южнорусскими районами» (с. 229), причем исследовательница подчеркивает, что это «привлечение... древних элементов фольклора и изобразительного искусства позволяет вскрыть архаические пласты этнических связей, особенно важных и убедительных» (с. 231).

Но, конечно, все это вполне естественным будет отнести и к мезенским былинам, которые также пришли отнюдь не из Новгорода, а из Южной Руси через Ладогу. В последней своей книге С. Я. Дмитриева рассказывает об очень многозначительном наблюдении, сделанном ею в том же самом Мезенском районе. Раз в год здесь совершались своеобразные ритуальные хоровады – «круги», которые «обходили кругом всю деревню, обязательно по движению солнца». Осуществляя этот явно древнейший «соляренный» обряд (свастика ведь также символ солнца), «первыми шли девушки «высоких», «коренных» фамилий... «высота» фамилии или «рода» зависела не от богатства, а от древности рода. К высоким, древним родам относились потомки самых первых поселенцев... Удалось установить связь, – заключает С. И. Дмитриева, – между представителями «высоких» фамилий и сказителями былин. Большинство последних, за редким исключением, принадлежали к потомкам «коренных» фамилий... Среди них обязательно находились люди, в той или иной степени сохранившие память о самих былинах или слышавшие о былинах от своих предков» (с. 57, 58).

Речь идет, следовательно, о том, что в среде тех поселенцев Поморья, которых С. И. Дмитриева в первой своей книге называла «новгородцами», выделялись древнейшие («коренные», «высокие») роды, пришедшие на Север ранее основной массы населения. И именно они принесли в Поморье былины. Здесь необходимо осознать, что в этом сообщении С. И. Дмитриевой сопоставляются не выходцы с запада (из Новгородской земли) и с юга (из Ростово-Суздальской Руси, которая к моменту переселения части ее жителей в Поморье уже утратила эпос); нет, оказывается, что и в самой среде переселенцев с запада имелись два различных пласта – древнейший, принесший с собой южнорусские былины, и более поздний, не обладавший этим наследием. Естественно понять это различие именно как различие наиболее ранних *ладожских* «первопроходцев» и приходивших в Поморье лишь с конца XI века *новгородских* переселенцев, которые не знали былин, – за исключением собственно новгородских, которые и сложились-то значительно позднее (былины о Садко и Василии Буслаеве). «Коренные», «высокие» роды – это, очевидно, те, которые пришли в самый ранний период из Киева через Ладогу, неся с собой основные былинные богатства.

Итак, в Поморье, на много столетий ставшем заповедным царством русского эпоса, былины пришли из Киева через Ладогу – древнейший северный город. Кстати сказать, движение русских людей из Ладоги в Поморье началось, как это хорошо известно, в самые древние времена.

До прихода туда русских Поморье населяли финские племена. И Т. А. Бернштам напоминает в своей не раз уже цитированной книге, что в Приладожье и Прионежье (то есть в тех мест-

ностях, по которым шло переселение русских к северо-востоку) «интенсивные славяно-финские языковые контакты восходят к VIII–X вв.» (с. 219), то есть к собственно «былинной» эпохе.

К этому можно добавить выводы С. И. Дмитриевой, которая, опираясь на скрупулезные исследования М. В. Витова¹¹⁰, пишет, что основные «былинные» места Поморья «были заселены переселенцами с нижней Двины, а последняя составляла область Севера, с древнейших времен заселенную славянами... уже с XI–XII вв. здесь были славянские поселения, тогда как связи славян с этими землями завязались значительно раньше» (указ. соч., с. 51–52), то есть уже в VIII–X вв., о чем пишет и Т. А. Бернштам.

Итак, былины пришли в Поморье уже к XI веку и с тех пор хранились в памяти прежде всего тех «высоких», «коренных» поморских родов, о которых столь интересно говорится в новейшей книге С. И. Дмитриевой.

Может показаться даже и неправдоподобным такое долгое – почти тысячелетнее – сохранение эпической памяти в Поморье. Однако речь ведь идет, говоря точно, о – не меньше, но и не больше! – *тридцати* человеческих поколениях, а если учесть, что каждые три поколения (дед-отец-внук), как правило, непосредственно знают друг друга и, следовательно, составляют *единое*, нераздельное звено в исторической цепи, то «передача» памяти должна была совершиться через посредство всего лишь *десяти* таких звеньев («замыкающий» звено внук передавал память своему сыну, «открывающему» следующее тройственное звено).

Разумеется, эта устойчивая передача памяти опиралась на определенные подкрепляющие стимулы, которые имели уже не личный или семейно-родовой, а гораздо более широкий, в конечном счете народный характер. Существуют давние (еще с середины XIX века) и разнообразные попытки объяснения устойчивости бытия эпоса в Поморье; обзор этих объяснений см., например, в изданной в 1966 году и не раз уже упомянутой книге А. М. Астаховой «Былины. Итоги и проблемы изучения» (с. 227–231).

Все перечисленные там объяснения сохранности эпоса в Поморье имеют свое значение, но я полагаю, что *главную*, исходную причину определил еще А. Н. Веселовский, который усматривал суть дела именно в самом факте «занесения» эпоса, сложившегося в Южной Руси, в иной, северорусский мир: «...Занесенный эпос, – писал ученый, – легче объективируется, принимается как поэтическое данное... чем эпос, не «отрывающийся от почвы и питающийся живыми отголосками исторических событий, впервые вызвавших его к жизни»¹¹¹.

Это очень веское и убедительное соображение: в Южной Руси эпос должен был бы жить на *той же самой* почве, которая его породила и которая, однако, продолжая непрерывно изменяться, снова и снова заставляла меняться и сам эпос и в конце концов преобразила его в нечто совсем иное (скажем, Бояновы песни). Уже давно известно, что некоторые былинные мотивы и образы сохранились в качестве элементов совершенно иного, фольклорного, точнее, обрядово-фольклорного, жанра – колядок. В этот сомкнутый в себе мир обряда историческая действительность не вторгалась так властно, как в эпос, и он тысячу лет сохранял древнейшие детали и черты. Исследователь, посвятивший данной проблеме ряд работ, пишет, в частности: «Украинские колядки, народные песни, относительно хорошо сохраняющие особенности древнерусского эпического стиля Киевской эпохи... свидетельствуют о том, что во многом близкие им по своей поэтике русские былины создавались в той же народной среде»¹¹².

¹¹⁰ См. в частности: Битов М. в. антропологические данные как источники по истории колонизации русского Севера. – «История СССР», 1964, № 6.

¹¹¹ Веселовский А. Н. русский эпос и новые его исследователи – Халанский и Дамберг. – «вестник Европы», 1888, июль, с. 153.

¹¹² Плисецкий М. М. Героико-эпический стиль в восточнославянских колядках. – в кн.: Обряды и обрядовый фольклор. М., 1982, с. 206; см. также более раннюю работу: Гацак в. М. Эпос и героические колядки. – в кн.: Специфика фольклорных жанров. М., 1973, с. 7–51.

Но, повторю, все новые и новые воздействия вроде бы той же самой, но непрерывно и решительно изменяющейся действительности Южной Руси, которая породила эпос, не дали ему возможности сохраниться здесь сколько-нибудь долго; между тем, оказавшись в *совсем ином* мире Поморья, эпос как бы законсервировался.

Здесь, впрочем, никак нельзя не учитывать и очень существенное положение, выдвинутое Т. А. Бернштам: «... Эпос получает *наивысшее развитие* (выделено мною. – В. К.) в этнических окраинах. Все былинные очаги находятся в районах, представляющих, как правило, одновременно естественную границу России». Это обусловлено следующим: «...если жителям... ставших центральными областей Русского государства не было нужды в архаичных «героических символах» для поддержки Русского самосознания, то населению Севера... героические предания были необходимы для проявления этнического (национального) утверждения и самовыражения. Поэтому-то, нам кажется, здесь произошло... возрождение памяти о героическом прошлом, приведшее к настоящему взрыву эпической поэзии» (цит. соч., с. 206, 207).

Чтобы яснее это понять, необходимо иметь в виду, что эпос может сохраниться не только при наличии тех, кто его помнит и исполняет; не менее существенно и наличие слушателей, среды, то есть некой части *народа*, у которого есть настоятельная потребность в эпосе. Так было в Поморье; этим же объясняет Т. А. Бернштам и сохранение эпоса (хотя и не столь целостное и совершенное, как в северном «углу» Поморья) в других «окраинных» регионах – в Заволжье и Приуралье, в Сибири, в казачьих областях.

В связи с этим нужно вернуться и к обсуждавшемуся выше исследованию С. И. Дмитриевой «Географическое распространение русских былин». Дело в том, что книга эта была подвергнута существенной критике в работе Ю. А. Новикова, опубликованной в 1988 году. Не буду касаться отдельных критических суждений, подчас весьма основательных. Но Ю. А. Новиков оспаривает и наиболее весомый, по моему убеждению, вывод С. И. Дмитриевой о раннем «угасании» эпоса за пределами Поморья.

Выше уже не раз и с разных точек зрения рассматривался вопрос о том, что русский героический эпос, сложившись к XI веку, уже к XII веку начинает, так сказать, сходить со сцены, сохраняясь лишь в совершенно специфических условиях (в том же Поморье). Не исключено, что это утверждение может показаться неоправданным и даже странным: мощный и богатый мир поэтического слова вдруг теряет свое значение для потомков, вытесняется другими явлениями словесности.

Однако, если вдуматься, это – типичная, почти всеобщая судьба древнего эпоса. Ведь в западноевропейских странах эпос, несмотря даже на то, что он был очень рано (в IX–XIII веках) зафиксирован письменно, точно так же сходит со сцены и вообще полностью «забывается». Его вспоминают заново, по сути дела «открывают», гораздо позднее – через полтысячелетия и более – в XVIII или даже XIX веке; именно тогда его начинают публиковать и изучать, и, наконец, создавать на его основе различные новые произведения – скажем, роман Жозефа Бедье «Тристан и Изольда» или героико-эпические оперы Рихарда Вагнера.

В высшей степени примечательно, что западноевропейский эпос дольше всего сохраняет живую жизнь в «отрезанной» от европейского континента Исландии, которая по-своему сравнима, сопоставима с русским Поморьем; закономерно, что Поморье давно стали называть «Исландией русского эпоса».

Словом, тем людям, которым кажется неправдоподобным столь раннее (по-видимому, уже к XII веку) «угасание» русского эпоса, следует осознать, что неправдоподобной – на фоне общей судьбы эпоса – явилась бы как раз его длительная и активная жизнь в условиях быстро и решительно изменявшегося исторического бытия основной территории Руси XI века и позднее. Достаточно напомнить то, о чем подробно говорилось: до Ярослава Русь постоянно выходила за свои пределы, что и запечатлено со всей очевидностью в эпосе, а после Ярослава она

как бы замкнулась во внутреннем бытии – вплоть до жизни отдельных княжеств. И постоянные дальние походы былинных героев оказались чем-то «чуждым» новому образу жизни.

И Ю. А. Новиков, возражая против одного из главных и наиболее ценных положений книги С. И. Дмитриевой (о том, что на основной территории Руси, за исключением «окраин», эпос перестает существовать уже весьма рано), в сущности, не приводит – да не может привести – действительно основательных аргументов в пользу иного понимания судьбы эпоса.

С. И. Дмитриева достаточно убедительно показала, что «былинные очаги», сохранившиеся, например, в отдельных районах Сибири, были занесены туда именно и только переселенцами из Поморья, или, как она определяет, «новгородцами» (о неточности этого определения подробно говорилось выше).

Но рассмотрим все же доводы Ю. А. Новикова. Он настаивает на том, что эпос существовал в тех или иных регионах за пределами Поморья значительно дольше, чем считает С. И. Дмитриева: «Одним из самых неубедительных в книге (Дмитриевой. – В. К.) является раздел, посвященный эпическим традициям (или их остаткам), обнаруженным за пределами Олонецкой и Архангельской губерний... автор неоднократно и довольно категорично говорит об отсутствии в XIV–XV вв. (собственно, речь идет у С. И. Дмитриевой даже о более ранней временной границе – XII–XIII вв. – В. К.) былинной традиции в Ростово-Суздальской и Московской землях, в центральных и южных областях России, на Украине и в Белоруссии... «Что касается былин, записанных в Приуралье, отчасти в Поволжье и на Дону, – цитирует Ю. А. Новиков книгу С. И. Дмитриевой, – то, как заметили многие исследователи, это остатки главным образом слабых эпических традиций в районах, куда также распространился поток переселенцев из северных губерний». Это явная натяжка, – возражает Ю. А. Новиков и не без едкости резюмирует: – О слабости былинной традиции в этих краях действительно писали многие, но, насколько нам известно, никто не считал донских казаков потомками новгородцев» (или, скажу уже от себя, поморов. – В. К.)¹¹³.

Последнее возражение звучит внушительно, ибо донские казаки в самом деле сохранили – пусть и далеко не с такой полнотой, как поморы, – былинный эпос, а ведь нет ровно никаких оснований полагать, что они получили былинную традицию от поморов. Из этого, в свою очередь, неизбежно следует, что к моменту образования казачества (почему оно, как и поморы, хранило эпос, ясно показано в цитированных выше суждениях Т. А. Бернштам об особенностях сознания на «окраинах») былины еще жили на Руси – по крайней мере, в тех ее частях, откуда явилось казачество. В результате возникает естественное сомнение в том, что былинный эпос «угас» на Руси (за исключением Поморья) уже в очень раннюю эпоху. Ибо общепринято представление, согласно которому казачество начало формироваться лишь в XV или даже в начале XVI века. И как бы приходится признать, что еще в XV веке на Руси широко звучали сказания об Илье Муромце и других богатырях, которые и унесли с собой в свои «вольные края» казаки.

Однако недавно вышла книга, каковую, как и некоторые названные выше, с полным правом можно считать настоящим научным открытием. Это изданная, увы, микроскопическим тиражом работа А. А. Шенникова «Червлёный Яр. Исследование по истории и географии Среднего Подонья в XIV–XVI вв.» (Л., 1987).

В книге тщательно изучены судьбы во многом «загадочной» земли и ее населения, связанных с наименованием «Червлёный Яр». Речь идет об издавна заселенном выходцами из основной Руси пространстве между реками Воронежем и Хопром, а если мерить с севера на юг – от реки Цны до нынешней станицы Вешенской на среднем Дону (ныне это пространство входит своими отдельными частями в Липецкую, Тамбовскую, Воронежскую, Волгоградскую

¹¹³ Новиков Ю. А. точку ставить рано... О концепции новгородского происхождения русской былинной традиции. – в кн.: Фольклор. Проблемы историзма. Отв. ред. в. М. Гацак, М., 1988, с. 34, 35.

и Ростовскую области). Давно установлено, что восточнославянские – главным образом северянские – поселения имелись здесь еще в VIII–IX веках (затем русские вынуждены были уйти отсюда из-за различных опасностей, связанных с военной практикой Хазарского каганата – о чем ниже), но гораздо менее известно, что никак не позже XII века (а вернее, даже еще ранее – вскоре после гибели Хазарского каганата, в конце X века) сюда снова явились русские переселенцы. Они оказались вне власти какого-либо княжества, и именно здесь, на этой мало ведомой окраине тогдашней Руси, как аргументированно доказывает в своей книге А. А. Шенников, начало складываться казачество.

В дальнейшем мы еще будем касаться судьбы этой давней окраины Руси, но сейчас важно утвердить одно: будущие казаки, очевидно, принесли сюда эпос не в XV–XVI веках, а *не позднее* XII века (то есть, возможно, и в XI веке), когда его жизнь действительно еще продолжалась на Руси (кстати сказать, само слово «казак» широко употребляется в письменности уже с XV века; в устный язык оно вошло, без сомнения, намного раньше). И в Червленом Яре, естественно, была та настоятельная потребность «окраинного» населения в сохранении эпоса как основы национального самосознания, о которой справедливо говорит в своей книге Т. А. Бернштам. Словом, и время, и самый характер бытования эпоса в казачьей среде соответствуют тому, что имело место далеко на севере, в Поморье. Но поскольку историческая судьба казачества была, так сказать, более бурной, чем у поморов, эпос сохранился в его среде значительно хуже.

Концепция С. И. Дмитриевой, согласно которой былины уже в ранний период продолжали жить только в Поморье, подверглась критике еще и в недавней статье Т. Г. Ивановой «Былинная традиция на реке Ваге»¹¹⁴. Речь здесь идет о том, что в 1840-х годах топограф Алексей Харитонов записал несколько былин в Шенкурском уезде Архангельской губернии, где жили в основном переселенцы не из Ладogi, а из Ростовской (или, иначе, «низовской») Руси; это вроде бы ставит под сомнение выводы С. И. Дмитриевой. Но едва ли можно считать критику Т. Г. Ивановой основательной. Во-первых, нет точных сведений о том, где странствующий по условиям своей профессии топограф записал былины, и поскольку Шенкурский уезд в северной своей части близок к пределам онежских и пинежских земель, возможно происхождение собранных А. Харитоновым текстов из этих основных былинных районов. Но дело не только в этом. Сама Т. Г. Иванова пишет: «...уже в первой трети XII столетия на Ваге... существовали новгородские (первоначально – ладожские. – В. К.) погосты. Однако новгородский колонизационный поток вскоре здесь был перекрыт низовской колонизацией» (с. 117). Это суждение никак не исключает возможности наличия на Ваге потомков пусть даже немногих самых ранних переселенцев из Ладogi, в среде которых и сохранились былины; очень характерно, что былины имелись здесь в самом малом количестве, а после 1840-х годов вообще, по сути, исчезли. Словом, полемика Т. Г. Ивановой никак не колеблет концепцию С. И. Дмитриевой.

Прежде чем идти дальше, целесообразно осмыслить одно вероятное сомнение. В своем месте говорилось о том, что былинный эпос очень рано сменяется на основной территории Руси другими жанрами – скажем, «княжескими славами» песнотворца второй половины XI века Бояна. И может смутить очевидное противоречие: в целом былины столь быстро сходят со сцены, а в Поморье они исполняются в течение долгих веков.

Однако ничего парадоксального в этом резком различии нет. Здесь уместно сопоставить судьбы современной «текущей» литературы, публикуемой, допустим, в ежемесячных журналах, и, с другой стороны, старинных книг, бережно и даже, так сказать, ритуально хранимых в основном библиотечном фонде. В наше время «волна» текущей литературы как бы полностью сменяется иной «волной» всего лет за десять – пятнадцать. Но это, в сущности, никак не

¹¹⁴ «Русская литература», 1991, № 2, с. 111–119.

влияет на статус основного фонда библиотек. Одно дело – повседневная жизнь литературы, и совсем иное – бытие «священного» наследия классики.

А былины в Поморье воспринимались именно как нечто священное, ниспосланное свыше, а не создаваемое реальными людьми. Об этом пишет, например, в своей книге Т. А. Бернштам: «Отношение к былине (старине) как божественному дару выражалось в том факте, что еще в XIX в. во многих северных районах исполнение былин происходило только в праздничные (т. е. «святые») дни» (с. 206).

Словом, «обычное» развитие искусства слова и, с другой стороны, хранение былин в Поморье (и иных местах) – это принципиально разные феномены, которые нельзя мерить одной мерой.

Утверждение о поистине удивительной сохранности былин в Северной Руси отнюдь не является умозрительной гипотезой. Ведь в течение почти столетия, начиная с 1860 года, производились, например, записи былин (кстати сказать, с большими временными перерывами) от одной прионежской – «рябининской» – династии сказителей. Ее родоначальник Трофим Рябинин родился еще двести лет назад, в 1791 году, а последний ее представитель – Петр Рябинин-Андреев скончался в 1953 году, и тем не менее, как свидетельствовала А. М. Астахова, «редакции Трофима Рябинина донесены до нашего времени без существенных переработок, и те изменения, которые вносит его потомок, выражаются по преимуществу в перестановках эпизодов и стихов, словесных перефразировках и т. п. и не дают принципиальных различий...»¹¹⁵

А. В. Марков писал в начале XX века о знаменитой сказительнице: «А. М. Крюкова прямо говорила, что проклят будет тот, кто позволит себе прибавить или убавить что-нибудь в содержании старин»¹¹⁶. Этот «императив» явно был присущ и творческому сознанию династии Рябининых. Кстати сказать, Трофим Рябинин «понял»¹¹⁷ (по его выражению) былины от высокочтимых им его старшего друга Ильи Елустафьева, родившегося еще в 40-х годах XVIII века, и от своего также уже пожилого дяди по материнской линии Игнатия Андреева. И едва ли он «прибавлял» или «убавлял» что-либо к услышанному.

Таким образом, с конца XVIII до середины XX века (пять поколений!) основное в былинах могло, оказывается, сохраниться в почти неизменном виде. И трудно спорить с тем, что в *предшествующие* столетия возможность сохранения изначального, уходящего корнями в дорославову эпоху былинного фонда была не менее, или, скорее, даже более надежной. Поэтому мы имеем все основания рассматривать дошедшие до нас былины как древнейшее, изначальное наследие русского искусства слова.

Итак, мы с разных точек зрения и в целом ряде аспектов рассмотрели проблему, которая наиболее просто и кратко определяется как «датировка» создания русского героического эпоса. Не исключено, что проблема эта может показаться кому-либо не настолько существенной и многозначной, дабы тратить на ее обсуждение столько усилий и книжного текста. Но это далеко не так. Речь ведь идет и об установлении реального начала высокого развития русского искусства слова как важнейшей составной части отечественной культуры и – одновременно – о начальной стадии самой Истории Руси (ибо истинная история – о чем в своем месте шла речь – есть единство развития государственности и культуры). То есть, не решив эту проблему, мы не сможем основательно мыслить обо всей литературе Руси и даже о ее истории.

Наибольшее внимание было уделено судьбе героического эпоса в Поморье, где он сохранился с исключительной полнотой и верностью. И, как представляется, выше были приведены достаточно весомые доказательства в пользу того, что героический эпос пришел в Поморье с наиболее ранними переселенцами, которые двинулись туда из нераздельно связанной с IX до

¹¹⁵ Былины Ивана Герасимовича Рябинина-Андреева. – Петрозаводск, 1948, с. 23.

¹¹⁶ Беломорские былины, записанные А. Марковым. М., 1901, с. 13.

¹¹⁷ То есть взял.

конца XI века с Южной Русью, с Киевом, – Ладоги. Это призвано (помимо ряда иных соображений) подтвердить, что русский героический эпос сложился (как и утверждает целый ряд его современных – и притом самых разных – исследователей) уже к XI веку. При этом (что не раз подчеркивалось) речь идет не о тех или иных *отдельных* былинах и тем более каких-либо их элементах, которые могли возникнуть позже и даже гораздо позже, но о героическом эпосе как жанре, как целостном феномене искусства слова и культуры вообще.

И последнее – но первое по важности. Доказать, что русский эпос был в целом создан к началу XI века, – значит осознать его как монументальный исторический «источник», запечатлевший эпоху IX–X веков, которая отражена в созданных позднее летописях и скудно, и обрывочно. Нет сомнения, что образы эпоса никак нельзя ставить в один ряд со сведениями исторических хроник. Но эти грандиозные образы воссоздают размах той борьбы, тех испытаний, которые выпали на долю Руси в героические века ее юности, в период становления ее государственности.

Видный современный историк Древней Руси А. Н. Сахаров писал недавно об известном сообщении из «Повести временных лет»:

«Под 965 годом следует запись: «Иде Святославъ на козары». За этой лаконичной и бесстрастной фразой стоит целая эпоха освобождения восточнославянских земель из-под ига хазар, превращения конфедерации восточнославянских племен в единое Древнерусское государство... Хазария традиционно была врагом в этом становлении Руси, врагом постоянным, упорным, жестоким и коварным... Повсюду, где только можно было, Хазария противодействовала Руси... Сто с лишним лет (точнее – почти полтора века, так как наиболее вероятная дата вторжения хазар в Киев – около 825 года. – В. К.) шаг за шагом отодвигала Русь Хазарский каганат в сторону от своих судеб»¹¹⁸.

Но именно эта борьба – о чем самым подробным образом будет сказано далее – и запечатлена прежде всего в монументальном художественном мире русского героического эпоса. Может показаться неоправданным, что объединяющим этот эпос героем является Владимир, а не Святослав, нанесший, по сути дела, смертельный удар Хазарскому каганату; но, во-первых, Владимиру, как известно из ряда вполне достоверных источников, пришлось все же предпринять еще один, последний поход на Каганат, а во-вторых, именно при нем Русь достигла того могущества, которое исключало самую возможность ее поражения в борьбе с какой-либо силой тогдашнего мира (только через два с половиной века такая сила явилась в лице Монгольской империи). Арабские источники свидетельствуют о «русах» конца X – начала XI века: «... У них независимый царь, и называется их царь Буладмир (Владимир. – В. К.)... Они – люди сильнейшие и очень могучие; они отправляются пешими в далекие страны для набега, плавают также на судах по Хазарскому (Каспийскому. – В. К.) морю... и плавают к Константинополю по Понтийскому (Черному. – В. К.) морю... Их храбрость и мужество известны, ибо один из них равен некоторому числу людей из другого народа...»¹¹⁹

Это «описание», в сущности, совпадает с миром былинного эпоса, где, в частности, немало говорится о морских походах. Но к миру эпоса мы еще вернемся.

Вполне вероятно, что предшествующие страницы моего сочинения были восприняты читателями (хотя бы некоторыми) как чрезмерно «перегруженные» – перегруженные ссылками на различные работы историков, этнографов, фольклористов и т. д., выяснением идущих в их среде дискуссий, сопоставлением подчас далеко не совпадающих друг с другом концепций и т. п. Но необходимо понять, что каждый человек, стремящийся действительно знать и осмыслить отечественную историю, никак не может обойтись без такого ознакомления с *современной* ситуацией в исторической и смежных с ней науках.

¹¹⁸ Сахаров А. Н. «Мы от рода русского...». рождение русской дипломатии. Л., 1986, с. 263.

¹¹⁹ Захостер Б. Н. Каспийский свод сведений о восточной Европе, т. II. М., 1967, с. 146–147.

Уже из того, о чем было рассказано, явствует, что созданные в давние времена прославленные труды по истории России во многих отношениях «устарели», ибо наше знание прошедших эпох не стоит на месте, а непрерывно расширяется и углубляется. А между тем для не являющегося специалистом человека новые сведения и открытия, обретенные исторической наукой, в сущности, недоступны, ибо они (пока они еще не обобщены в обращенных к широкому читательскому кругу книгах), «разбросаны» в очень многочисленных посвященных отдельным и подчас очень узким сторонам и периодам отечественной истории работах, изданных к тому же, как правило, весьма небольшими или даже микроскопическими тиражами (несколько тысяч либо – сейчас это бывает сплошь и рядом! – всего несколько сот экземпляров). Кроме того, прийти к обоснованным выводам возможно лишь в ходе сопоставления и, так сказать, синтеза этих отдельных работ – чем во многих случаях и занят автор данного сочинения.

Итак, чтобы обрести знание отечественной истории (и в том числе истории русского Слова), соответствующее «последнему слову современной науки», необходимо примириться с тем далеко не всегда «легким» способом изложения, которое я предлагаю читателям. Как я убежден, конечный результат при этом будет достаточно весомым и плодотворным.

Говоря о происхождении русского эпоса, нельзя не коснуться чрезвычайно существенной проблемы соотношения эпоса и христианства. В послереволюционное время усиленно насаждалось представление, согласно которому русские былины – это выражение-де чисто языческого бытия и сознания. Между тем в действительности былины, – хотя в них, конечно же, присутствует мощный пласт древнейшего, дохристианского мировосприятия, – все же так или иначе проникнуты и духовным, и «фактическим», предметным (образы церкви, ее ритуалов и т. д.) содержанием христианства. Это проступает даже в считающихся наиболее архаичными и потому, так сказать, чисто языческих былинах – например, в записанной еще в середине XVIII века былине о Волхе Всеславьевиче, где герой отправляется в поход на «Индийского царя» потому, что царь этот ...хвалится-похваляется,

Хочет Киев-град за щитом весь взять,
А Божьи церкви на дым спустить.

В опять-таки одной из наиболее архаических былин – о битве Ильи Муромца с «нахвалящиком» (запись 1840-х годов) – герой восклицает:

Написано было у святых отцев,
Удумано было у апостолов:
«Не бывать Илье в чистом поле убитому...»

Но дело не только в подобных прямых обращениях к христианским понятиям. Когда, например, в записанной полтора века назад былине о «первой поездке» Ильи Муромца его родители, прощаясь с сыном, избравшим богатырский удел, говорят ему:

Поедешь ты путем и дорогою,
Не помысли злом и на татарина, —

в этом, без сомнения, выражается именно православная заповедь.

Однако, настаивая на христианском содержании былин, я вроде бы подвергаю сомнению свою предшествующую систему доказательств раннего (до эпохи Ярослава) происхождения русского эпоса, ибо Крещение Руси свершилось в самом конце X века, и едва ли вероятно, что былины за столь краткий срок могли вобрать в себя дух и «предметность» христианства. На

деле же определенная часть населения Руси, – притом именно Южной, собственно Киевской Руси, где и был создан героический эпос, – начала приобщаться христианству гораздо раньше, еще в 860-х годах, то есть за сто двадцать лет до официального, государственного Крещения!

Достаточно полный свод материалов об этом собран в недавно изданном исследовании историка О. М. Рапова «Русская церковь в IX – первой трети XII в. Принятие христианства» (М., 1988). Стоит отметить, что в этом обширном (23 авт. листа) труде *половина* объема отведена истории христианства на Руси еще до ее официального Крещения, хотя, казалось бы, полуторавековой период после Крещения (с конца X до второй трети XII века) должен был занять в книге значительно большее место. Отмечу сразу же, что некоторые уточнения выводов О. М. Рапова даны в позднейшей работе преподавателя Московской духовной академии иеромонаха Никона (Лысенко)¹²⁰.

Но обратимся к книге О. М. Рапова. Он, в частности, приводит почти забытое, но всецело достоверное византийское свидетельство о том, что уже при императоре Льве VI Мудром, правившем с 886 по 912 год, на Руси существовала христианская *митрополия*, подчиненная Константинопольскому патриархату (указ. соч., с. 123).

В свете этого столь же достоверным представляется и сообщение Иоакимовской летописи (о ней уже шла речь выше), которое цитирует О. М. Рапов: «Блаженный же Оскольд предан киевляны и убиен бысть, и погребен на горе, иде стояла церковь святого Николая, но Святослав разруши ее»... В «Повести временных лет», – продолжает исследователь, – о том же событии сообщается так: «В лето 6390 (882)... И убиша Асколда... и несоша на гору, и погребоша на горе... иде ныне Ольмин двор, на той могиле поставил Ольма церковь святого Николу...»

«Сопоставив отрывки, – подводит итог О. М. Рапов – мы заметим, что автору первого ничего не известно о восстановлении церкви св. Николая, разрушенной Святославом, в то время как автор «Повести временных лет» прямо указывает, что церковь св. Николая построена вновь его современником Олмой (т. е. где-то на грани XI и XII вв.)... Следовательно, первый текст более древний... Аскольд был похоронен возле церкви... Из этого факта можно сделать вывод, что он был христианином. Спустя два с лишним столетия знатный киевлянин Олма... построил новую церковь св. Николая... над могилой Аскольда... возможно... что церковь, созданная Олмой, представляла собой храм-памятник погибшему князю-христианину» (указ. соч., с. 119).

¹²⁰ Иеромонах Никон. Начало христианства на Руси. – «вопросы истории», 1989, № 6, с. 36–54.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.